Леонид Бородин

Повесть странного времени

Леонид Бородин • Повесть странного времени





Леонид Бородин

Повесть странного времени

Рассказы

ПОСЕВ

ВСТРЕЧА

Когда-то давно Козлов занимался боксом, несколько раз получал нокаут, оттого и было знакомо ему состояние, когда возвращаешься из небытия, когда сначала не чувствуешь своего тела и будто впервые открываешь, что ты — есть; затем сознание выходит во вне и обнаруживает мир. Оно само еще как тысяча осколков. Но вот осколки медленно, потом все быстрее стягиваются к центру, воссоздавая целое. И тогда происходит узнавание и себя и мира и начинаешь чувствовать свое тело.

Первое, что Козлов почувствовал, была боль в ноге. Он приподнялся, взглянул на небо, надеясь по солнцу определить, как долго был отключен. Но небо, как назло, еще с самого утра было плотно задраено грязными портянками и нигде не просвечивалось. Автомат лежал у ног. Козлов оглянулся. Негромко крикнул: «Эй!», но тишина была такая, как бывает, когда человек один. Начало саднить подбородок. Он притронулся к нему и увидел на руке кровь. Заломило скулы и какой-то зуб на правой стороне, а может быть несколько зубов. Нокаут отменный. Только почему еще и ногу больно? Засунул руку в сапог, потрогал. Неужели еще и пнул? Ну и задачка с одним неизвестным! Неизвестный смотался. Автомат оставил — и на том спасибо.

Но сидеть и раздумывать некогда. Надо уходить. Он ведь еще не ушел. В этих редких, насквозь просвечивающихся березниках ему делать нечего. Надо найти настоящий лес. А места незнакомые. Некоторое время Козлов осматривался, пытаясь сориентироваться, потрогал разбитый подбородок, покачал головой, закинул на шею ремень автомата и зашагал на восток...

* *
*

...Сначала ему не повезло — он попал в группу незнакомых людей. Большая часть их была измучена отчаянием, голодом, ранами... Твердо решив бежать при первой возможности, он сразу стал высматривать себе товарища. Понаблюдав, подстроился к сержанту с хмурым, злым лицом, с большими ухватистыми ладонями работяги. На первый же его намек сержант, не поднимая глаз, длинно выматерился, сплюнул:

— Хорош! Отвоевался!

Козлов еле сдержался, чтоб не двинуть ему в ухо. Вот тогда он впервые и заметил этого, длинноногого. Хотя тот был без очков, но по прищуру, по красноватой полоске на переносице в нем угадывался очкарик. Когда он попался Козлову на глаза, он, мгновенно оценив его, решил, что «с этим каши не сваришь». И тут же забыл о нем. Но очкарик стал попросту вертеться перед глазами. Это насторожило Козлова. Стоило ему оглянуться, и он тотчас же накалывался на ускользающий взгляд длинноногого. «Сволочь, чего ему надо?» — пытался угадать Козлов. Решил произвести «разведку боем». Подошел к нему и спросил запросто: «Закурить не найдется, приятель?». Тот растерялся, заморгал длинными белесыми ресницами, хрипло выдавил «нет» и откачнулся за чьи-то спины.

Их пригнали на ремонт железнодорожного полотна. Человек тридцать. Охрана — шесть солдат и две собаки. Для тридцати человек немного. Но для одного — больше, чем достаточно. И все же у Козлова было предчувствие, что он уйдет именно сегодня.

Как и все, впрягся в работу. Люди таскали шпалы, подкладывали их под рельсы, забивали костыли, деревянными лопатами утрамбовывали грунт. Работали тяжело. Война шла уже месяц. Люди хлебанули ее сполна.

Козлов был на финском. Считая себя кадровым, он не мог себе простить, что попался. Это была короткая, но тяжелая история. Козлов решил выбросить ее из своей памяти и биографии. Ему нужно делать дело. Нужно уйти, и он уйдет...

К полудню Козлов почувствовал, что обстановка изменилась к лучшему. И он сделал стойку. Во-первых, люди растянулись вдоль дороги метров на сто. Во-вторых, солдаты-охранники, ранее державшиеся на значительном расстоянии и, значит, державшие всех под обстрелом, подошли вплотную, покрикивая на уставших людей, и почти затерялись среди них. И, наконец, самое главное, солдаты с собаками ушли в хвост растянувшейся колонны, которая постепенно приближалась к лесу, подходившему недалеко впереди к полотну железной дороги. Козлов видел, что лес невелик, за ним снова просматривалось поле, но для рывка достаточно.

Шалили нервы. Руки вспотели, на лбу выступила испарина. И снова ему на глаза попался очкарик. Злоба захлестнула Козлова. «Что вынюхиваешь, сволочь! Или у меня рожа такая, что на ней все написано! — думал Козлов, до боли сжимая скулы. — Пусть только под руку подвернется, гад!».

Близко за спиной залаял немец. Козлов добросовестно колотил кувалдой по корявым шляпкам костылей. Слева сбоку появились остроносые сапоги, на мгновение они замерли и зашагали дальше. И там снова послышались резкие, рычащие окрики...

В самом центре России, среди распластавшихся хлебов, тихих тенистых перелесков, в самом центре русской тишины, необычной для людей, оглушенных бедой, люди эти казались себе ненастоящими, будто участвовали в каком-то странном спектакле. Казалось, сейчас затейник, выдумавший все это, появится и скажет, сопровождая слова магическим жестом: «Проснись!». Скажет, и все они распрямятся, бросят ломы и

и лопаты, хлопнут друг друга по плечам, расхохочутся, сорвут с себя дурацкие лохмотья и пойдут каждый восвояси. Разве может быть иначе. Это же Россия, это же их земля! Разве не противоестественны среди плавной, мягкой русской многоголосицы эти резкие, грубые звуки, лишенные смысла! «Арбайтен!» — дикая абракадабра. Разве она имеет отношение к жаворонку, что повис и трепыхается над головой? А небо? Небо... Да... небо... Пожалуй, небо имеет отношение ко всему, что происходит на русской земле. Не чистое оно, больное, а не хмурое просто или в тучах. Да, только вот небо, только оно подтверждает, что впрямь беда, а не сон, беда пришла, и не все знают, как ей противостоять. Как же иначе объяснить, что тридцать русских мужиков согнули спины по приказу восьмерых чужих, точнее шестерых, и двух — псов. Но это — одно и то же. Еще в руках у шестерых автоматы. А у тридцати их нет. Автомат! Хитро устроенный кусок железа, и только. Но как он меняет человека! Сталью наливаются мышцы, когда ладони срастаются с его холодными точеными литыми рукоятками, когда палец ложится на спусковой крючок, услужливый, податливый. Когда в руках автомат, жизнь твоя оценивается в тридцать жизней врага. Цена достойная! Когда же в руках лом, а сам ослаб от ранения и многодневного голода, во что тогда оценивается жизнь человеческая? Немцы — народ ученый. Они подсчитали. Если шесть поделить на тридцать, получится одна пятая. Выходит, он, Козлов, оценен в одну пятую вот этого хлюста с автоматом, что снова приближается к нему!

Козлов не поднимает головы и не смотрит, но видит его. Видит и другое. До леса метров пятнадцать-двадцать, немец один, собаки в конце колонны. Но он видит также, что палец на спуске, а затвор в боевом положении, и что немец знает свое дело — пружина. В руках Козлова кувалда. Три удара и костыль

в шпале. Взмах — удар, взмах — удар... «Одна пятая, одна пятая», — бормочет Козлов. «Одна» — взмах, «пятая» — удар. «Одна п-пятая, одна п-пятая...». Немец в пяти шагах. В пяти шагах от того, кто лишь одна пятая его цены. «Всю историю рассчитывали, подсчитывали, гады, — бормочет сквозь зубы Козлов, — барбароссы ср...е! Подведет расчётик!» Три шага. Взмах — удар. Немец рядом. Взмах... Немец сзади. Козлов поворачивается и опускает кувалду на рыжеватый стриженный затылок.

Солдат без звука упал на живот. Козлов рывком перевернул его, схватил автомат, дернул. На шее ремень за что-то зацепился. Козлов дернул еще, но увидел перед собой второго охранника. Долю секунды они, оба опешившие, смотрели, замерев, друг другу в глаза. Руки солдата лежали на автомате сверху. Но вот оба они сделали движение: Козлов сдернул автомат с шеи оглушенного или убитого немца, а его противник бросил руки на рукояти. Решали секунды. Козлов непременно бы проиграл, — тому оставалось только нажать на спуск. Но в эту секунду немцу на голову опустилась кувалда. За спиной падающего немца выросла надоевшая фигура длинноногого очкарика. Он держал в руках кувалду, а на лице была растерянность, словно он не знал, что делать.

— Автомат! — крикнул Козлов.

Очкарик бросил кувалду, засуетился около немца. Козлов выругался, прыгнул, сдернул автомат, сунул ему в руки, крикнул: «Пошел!», махнул рукой и рванулся к насыпи.

Он позволил себе оглянуться, когда на полсотню метров углубился в лес. Шагах в десяти сзади бежал его напарник, вытаращив глаза, размахивая руками и автоматом, который держал в левой. Рот его был раскрыт, как у выловленной рыбы.

— Дыши носом! — крикнул Козлов, не сбавляя ходу.

Лесок уже кончался, когда затрещали выстрелы, и первые ядовитые шмели запели где-то совсем рядом или чуть над головой. Впрочем, Козлов знал по опыту, что это только кажется: та самая пуля не жужжит, ее не услышишь.

Впереди открывалась полоска поля метров в двести, за ней снова шел лесок и, кажется, сползал к оврагу. Очкарик отстал уже шагов на тридцать, но бежал резво, рот его по-прежнему был открыт. Козлов остановился и тут же услышал лай собак. Они уже были в лесу. Очкарик, тяжело дыша, встал рядом, бледнея вслушивался в приближающийся лай.

— Встретим, — бросил Козлов, занимая позицию за толстой приземистой березой. Напарник его сделал то же самое, выставив автомат так, как пожарники держат брандсбойт.

— Я сам. Страхуй меня! — крикнул ему Козлов и, увидев, что тот его не понял, еще, но резче и злее. — Встань рядом, если промахнусь, бей рукояткой!

Такое использование незнакомого оружия очкарику было понятнее, он перехватил автомат за ствол и встал рядом с Козловым.

Рассчитано было правильно. Собак лучше встречать здесь, чем в поле. Охранники же преследовать их не рискнут. Их сейчас там четверо осталось. Козлову было обидно, что никто больше не побежал. «Они побежали, — почему-то успокаивал он себя, — побежали в разные стороны». Но все равно было обидно. Если бы не этот длинноногий, уложил бы его немец. Обидно...

Из кустов с лаем выкатилась овчарка. Козлов дал короткую очередь. Собака кувырнулась через голову, ударилась о пень и затихла. Также короткой очередью, экономя патроны, он встретил вторую — и тоже удачно. Только эта, перевернувшись в воздухе, вскочила, прыгнула, упала, снова вскочила, визжа на весь лес, крича почти по-человечески. Потом начала кататься

по земле, иногда поднимаясь на задние лапы, а передними обхватывая голову, словно пытаясь вытряхнуть, выцарапать засевшую там пулю. Убедившись, что собака ранена смертельно, Козлов повернулся к своему напарнику, который стоял в воинственной позе, держа автомат обеими руками за ствол. Не отрываясь, он с ужасом смотрел на мечущуюся в агонии собаку, раздувая ноздри и облизывая губы.

Потом они долго, не останавливаясь и не разговаривая, шли полями, перелесками, оврагами, шли часа три, не меньше. И лишь уйдя от места погони километров на пятнадцать, в густом перелеске, Козлов решился на привал.

— Падай, — сказал он напарнику, и плюхнулся на траву, и лежал лицом вниз, без движения, минут пять. Потом поднялся, подошел к сидящему спиной к дереву очкарику и, протянув руку, предложил: — Знакомиться давай, что ли.

Что-то внезапно изменилось в лице сидящего перед ним человека, какая-то судорога прошла, точнее промелькнула от подбородка к губам, через щеки. Дернулись веки, вздрогнули ресницы, совсем еле заметно дрогнули рыжеватые брови, а затем все лицо замерло и превратилось в маску. Козлов понял, что это было выражением гнева, даже злобы. Когда этот странный человек поднялся с земли и встал рядом с Козловым, то оказался на полголовы выше его, и тому пришлось задрать голову, чтобы не потерять пристальный взгляд своего напарника, вцепившегося в него всеми точками своих зрачков. Непонятно чем разъяренный человек, наконец, шевельнул бледными, до того в судороге застывшими губами, и хрипло прокричал в самое темя Козлову:

— Нам не надо знакомиться! Понятно?! Понятно вам?!

Вся его длинная многокостная худоба нависла над Козловым, и он даже отступил на шаг, непонимаю-

щий, удивленный. А тот наступал на него и кричал, широко раскрывая рот, выпячивая кадык, тараща близорукие глаза с расширенными зрачками. Это было смешно, и Козлов наверняка рассмеялся бы, если бы как раз в этот момент не получил удара в челюсть, начисто выключивший его на продолжительное время.

* * *

Кончался перелесок. Впереди показалась деревня. Козлов устало опустился на траву у самой опушки, обнаружив целую плантацию земляники. С полчаса он ползал по траве, не выпуская автомата. Ароматная, тающая во рту земляника обострила ощущение голода, к тому же хотелось пить. Все овраги и балки, что попадались ему на пути, были либо сухи, либо с мокрой, вонючей грязью на самом дне.

Из-под его руки с отвратительным шипеньем выметнулась толстая, метровая змея, и Козлова с поляны как ветром сдуло. «Вот история была бы, — поеживаясь от охватившего его озноба, подумал Козлов, — уйти от фрицев и сдохнуть от отечественной гадюки! Веселенькое дело!». Нужно было идти дальше. Он решил обойти деревню справа, — в той стороне виднелась низина и могла быть вода. Он пошел опушкой леса, пересек широкую проселочную дорогу и скоро дошел до глубокой балки, на дне которой по разжиженной глине узким желобком едва струилась вода. Выбрав место посуше, Козлов закинул автомат за спину, опустился на сухую часть плиты песчаника, уперся ладонями в грязь и склонился над жалким подобием ручья, осторожно всасывая в себя воду, чтобы не поднять мути — дно можно было почти достать носом. Но это была вода, — теплая, вонючая, с каким-то металлическим привкусом, но все же вода. Передохнув немного, он попил еще, а когда хотел подняться, рядом со своей рукой, почти полностью погрузившейся

в грязь, увидел след другой руки, не его, — позы своей он не менял. На другой стороне — второй отпечаток: кто-то недавно пил на этом же месте. Козлов вскочил, схватился за автомат, попятился к краю оврага, оглядываясь и прислушиваясь. С деревни доносились крики петухов, голоса людей, стрекот мотоциклов. Здесь же было тихо. Ни шороха. Он снова подошел к тому же месту. Теперь там было четыре отпечатка. Пальцы чужой руки были длиннее его пальцев, а руки тот расставил шире, когда нагибался к воде. Неужели он идет по следам очкарика? Козлов был непрочь снова встретить его, хотя бы чтобы выяснить, за что схлопотал по физиономии. Машинально потрогал подбородок. Боль почти прошла. На рассеченном месте запеклась кровь...

Тщательно осматривая каждый куст, пригибаясь и оглядываясь, он выбрался из оврага, обдумывая дальнейшие действия. Проблема голода его не волновала. В августе с голоду не умрешь: кругом поля, огороды, сады. Но рядом была деревня, не чужая, своя, русская. Неужто не накормят его в какой-нибудь крайней избе! Надо ждать ночи. Рядом раскинулось поле ржи, тупым клином упиравшееся справа в деревню, слева — в тот лесок, где он собирал землянику. Козлов, пригнувшись, проскочил небольшую полянку и нырнул в желтое, едва колыхавшееся море хлебов, углубился в него метров на сто, выбрал место погуще, встал на колени, пригнулся как можно ниже, стянул с себя грязную и перештопанную гимнастерку, расстелил ее на примятой пшенице. Сначала распотрошил колоски, что были примяты, а потом загребал еще и этой кропотливой работой занимался, пока не собрал на гимнастерке добрый котелок молодого чистого зерна. Рот набивал до отказа, переворачивался на спину, зажмурив глаза, смаковал, крякал, подмигивал сам себе, перекатывался, снова набивал рот и снова опрокидывался на спину. И тепло, что входило в его тело и наливало каждую мышцу упругостью и ненасытной жаждой

жизни, было не просто сытостью. Это сама мать-земля возвращала ему силы, что пролились на ее нивы солдатской кровью... Он радостно и доверчиво прижимался к земле, к своей земле. И слушал, и слышал ее уверенное дыхание, и дышал с ней в одном ритме. По-особому осознавалась свобода, которую он обрел. И пусть кругом враг, а он только один, и бредет он сейчас по своей земле, как волк затравленный, и головы поднять не может, — зато теперь он снова солдат, и в руках есть оружие. А числитель дроби его стоимости... его! Раздобыть бы еще пару рожков, да пару гранат. К тому же не сегодня-завтра он наткнется на сто́ящих людей. Не удастся прорваться через линию фронта (где она теперь?), будет партизанить. Он кадровый и цену себе знает... Так лежал он и думал, и настроение было отличное.

Меж тем, стемнело и потянуло прохладой. Козлов надел гимнастерку, приподнялся, осмотрелся, кинул ремень автомата за шею и, пригибаясь, подался к деревне. Перемахнув через жердевый забор, он оказался в огороде крайней избы. После каждого шага ожидал собачьего концерта. Где-то, кажется, через два или три дома тяжело и хрипло несколько раз рявкнул, судя по голосу, престарелый кобель. Здесь же, у этой избы — ни звука. В единственном окне, выходящем в огород, света нет, и дом выглядел нежилым. Но как только Козлов завернул за угол, лицом к лицу столкнулся с человеком, который, увидев его, вскинул топор, конечно же заранее припасенный, и закричал:

— Чего по чужим дворам шляешься?

— Тихо, отец, — приглушил его Козлов, — тихо. Свой я.

Старик (Козлов разглядел его) чуть сбавил громкость, но продолжал так же враждебно:

— Ты не мути! Я своих знаю. Чего надо, говори!

— Немцы есть в селе? — спросил Козлов, обескураженный таким приемом.

— А ты как думал? Немцев, русских — всяких полно. Так что давай иди своей дорогой, коли еще пожить хочешь.

— Каких русских? — не понял Козлов.

— Каких, каких! Полицаев, вот каких!

Старик стоял, опустив топор, но не собираясь проявить гостеприимства.

— Гонишь, значит, — угрюмо выдавил Козлов.

— А кто ты такой, что я должен тебя в дом вести?!

Козлов хотел сказать «русский», но вспомнил про полицаев, замешкался...

Старик перешел в наступление.

— Ишь подобрал берданку, дак теперь ему хлеб-соль подавай.

— Из плена я, папаша.

Но старик перебил его.

— Я тебе не папаша. В Орехове вот немцы таких вояк бабам раздают. Папашу нашел.

— Правильно говоришь. Сукин сын ты, а не папаша! — зло сказал Козлов, и тут же схватился за автомат, потому что за спиной старика мелькнула тень.

— Идите в избу, — услышал он тихий женский голос.

Старик бросил топор куда-то в темноту и застучал ногами по крыльцу.

Женщина тронула Козлова за рукав.

— Идемте. Да идемте же! — повторила она, увидев нерешительность Козлова. — На батю не сердитесь. Идемте, а то еще услышит кто. Немцы в школе, а полицаи в сельсовете, но все время шныряют по деревне.

Через несколько минут Козлов уже ел отличный борщ.

— Батя, посмотри на крыльцо, мало ли что... — сказала женщина, и старик послушно вышел. Женщи-

на молча и при тусклом свете лампы грустно рассматривала лицо своего гостя.

— За дубами вы прятались?

— Когда? — спросил Козлов, отрываясь от миски.

— Вечером.

— Нет.

— Тот подлинней был, пожалуй, — согласилась она. Увидев, что он задумался, спросила еще. — Вы его знаете?

— Если он придет, покормите. Он отличный парень, только не в себе немного. Контузия. Со мной идти не захотел.

Про контузию он соврал. Но такое объяснение странностям очкарика казалось ему очень правдоподобным.

Вернулся старик, молча сел на табурет. Женщина укоризненно посмотрела на него, но промолчала.

— Вам лучше идти.

Так она и сказала, когда он кончил есть: идти, а не уйти. Он кивнул. Не хочется, но надо идти. Женщина вышла в другую комнату и вернулась с новыми блестящими хромовыми сапогами. Такие надевали на свадьбу. Козлов заколебался, но надел. Его разваленные сапоги женщина унесла в сени. Потом она переглянулась со стариком, снова вышла в соседнюю комнату и принесла тоже совсем новую черную кожаную куртку. Перед войной такие куртки стоили дорого. Козлов стал отказываться.

— Берите, — сказала она просто. И он взял.

— Муж-то воюет?

Но по тому, как насупился старик и поникла женщина, понял, что спросил зря. Если бы был жив, вещи бы не отдавали, а хранили как справку о жизни.

Попрощался. Старик не ответил. Женщина вышла с ним во двор. В темноте он не видел ее лица.

— Счастливо, — тихо сказала она.

Он тоже хотел сказать ей что-то хорошее, как вдруг она огорошила его.

— А муженек мой в полицаях. В районе с молодухой живет.

Козлов оторопел, а потом начал с остервенением стягивать с себя куртку. Она вцепилась ему в руки.

— Нет! Нет! Это не его. Это брата. Он на границе служил! Пожалуйста! — умоляла она его шёпотом.

— Врешь!

— Честное слово. Убили брата. Вот и батя сам не свой. Пожалуйста! — повторила она еле слышно.

Козлов шагал сквозь ночь, и не было уже того приподнятого настроения, что пришло к нему в поле. Он думал о женщине, у которой муж — предатель, думал о старике, потерявшем сына, о своем странном напарнике. Козлов был почти уверен, что тот не в себе... За месяц войны он уже сталкивался с подобным. Командир одного из взводов в его роте однажды во время налета выскочил из окопа и начал палить из пистолета по пикирующим юнкерсам. Вокруг смерть по тонне на квадратный метр, земля не успевала опускаться на землю, людей разносило в клочья, засыпало группами, прошивало вдоль и поперек, а этот обезумевший лейтенант прыгал над окопом с хохотом, о котором можно было только догадаться, не услышать, прыгал, палил из пистолета, а когда кончились патроны, бросил его вверх, намереваясь сбить самолет. От роты осталось меньше трети, а лейтенанта, невредимого, связав, переправили в тыл.

На Руси к «чокнутым» всегда относились с почтением, в этом отношении было не только сострадание, но и еще что-то неосознанное и неназванное. Впрочем, это не только на Руси. Так, наверное, происходит от того, что разум человеческий склонен к лукавству, пороку распространенному. И только обиженный в разуме напрочь лишен этого недостатка. На Руси же издревле люди чаще апеллировали к чувству, нежели к

разуму, хотя, что и говорить, от бед это не спасало...

За ночь Козлов обошел еще две деревни. А с рассветом закопался в копну сена, что попалась ему на небольшой поляне в березняке.

... Проснулся он от того, что рядом, совсем рядом говорили по-немецки. Много, не меньше десяти человек. И с такой же силой, как перед побегом, предчувствие подсказало ему, что он влип. Отчаяние тошно засосало под ложечкой, а первой мыслью было — отлежаться, переждать. Но где там! У самой головы зашуршало сено, он даже услышал запах человеческого пота. Копну растаскивали. Рядом разжигали костер. Еще одна охапка, и он будет обнаружен...

Рывком Козлов дернул затвор, ногой и стволом автомата расшвырял копну и выскочил на поляну. Прямо перед ним, лицом к лицу стоял с котелком в руке парализованный ужасом хлюпенький чернявый немец. За его спиной вокруг в разных позах застыли остальные десять или двенадцать. Безоружные. Автоматы в аккуратной пирамидке — в стороне. Козлов присел, лихо свистнул и прошил очередью стоящего перед ним с котелком, повел вправо, влево, сваливая на костер ошарашенных солдат, в то же время ожидая, когда упадет чернявый и откроет ему весь сектор обстрела. Но тот выронил котелок, отвалил челюсть, перекосил глаза и стоял, растопырив руки и всем своим видом как бы вопрошая: «Вот тебе раз! Что же это происходит?» Козлов снова провел через него очередь и увидел, как пули рванули мундир. Но он попрежнему стоял и загораживал ему других. Трое солдат бросились к автоматам. Козлов свалил их в кучу и стал ловить двух других, удиравших в лес. На все ушло не больше трех минут. И на поляне стояли теперь только двое: Козлов и мертвый немец, который никак не мог упасть. Остальные лежали друг на друге

и поодиночке там, где он их положил. Запахло горелыми тряпками. Козлов подскочил к автоматам, выдернул пару рожков, сунул в карманы. Свой проверенный автомат сменить не решился. Взглянул еще на чудо войны — стоящего мертвеца, и побежал в лес.

Не пробежал он и сотни метров, как за спиной затрещали очереди. Кто-то сумел отлежаться. Над головой зашумела малиновая ракета. Где-то затарахтели мотоциклы. Козлов свернул влево, скоро выскочил в ветвистый овраг, нырнул в него, побежал вниз, свернул в канаву, заросшую кустарником, залег и притаился. Стрекот мотоциклов приближался. Еще взлетела одна ракета, теперь в стороне. Он пополз вдоль канавы, выполз из нее в поле ржи, снова полз, теперь уже по полю, без всякого направления, просто потому, что нужно было уходить. Полз долго. Когда, наконец, приподнялся, увидел впереди растянувшуюся цепь автоматчиков. Его увидели тоже. Поле словно треснуло поперек, а над головой и вокруг засвистела и зажужжала смерть. Длинной очередью вдоль всей цепи он заставил немцев залечь и побежал, не назад, конечно, туда было нельзя, а вправо, наперерез цепи. Бежал, останавливался, давал очередь и снова бежал. Все поле сбоку и сзади него точно проросло черными поганками. Но Козлов ушел бы, ушел бы, если вдруг рядом с ним не возникла бы знакомая фигура очкарика. Это было так неожиданно, что Козлов оторопел, а потом застонал от сознания, что сам того не желая вывел немцев на своего бывшего напарника. А тот, видимо, не сразу узнал его, переодетого, а когда узнал, то удивлен был не менее. Но удивление быстро сменилось той же злобой, и очкарик закричал: «Опять вы!».

— Беги! — крикнул Козлов, расстреливая черные бюсты, обступающие их уже с трех сторон. Очкарик и не подумал бежать. Стоя во весь рост, он вытянул вперед автомат и, морщась, тоже стал стрелять. Ав-

томат ходуном ходил в его нелепо вытянутых руках, и проку от такой стрельбы было мало.

— Бежим! — крикнул Козлов, поняв, что тот из упрямства не оставит его одного. Впереди снова замаячил лесок. Им удалось вырваться из опасного полукольца. До леса оставался один рывок, когда очкарик охнул и упал. Прошило обе ноги выше колен. Козлов схватил его за руки, хотел дотащить хотя б до лесу, но очкарик вырвался, оттолкнул Козлова, надсадно, почти истерически закричал:

— Не подходите ко мне! Я ненавижу вас, слышите, если тронете, я застрелю вас!

— Ты что спятил?!.

— Ненавижу! — кричал очкарик. — Вы хуже их! — он дернул головой в сторону немцев. — Хуже, потому что свой! Уходите!

Козлов не на шутку обозлился.

— Ты что орешь, дурак?! Ты соображаешь?!

Разбираться было некогда. Их снова настигали.

Козлов подскочил к очкарику, обхватил его руками так, что тот не мог сопротивляться, и потащил к лесу. Тяжелый был он, этот долговязый. Но на одном рывке, на одном дыхании Козлов дотащил его до леса и за первыми деревьями опустил на траву. Получив свободу, очкарик навел на него автомат.

— Уходите. Я не хочу от вас никакой помощи! Уходите! Мне лучше смерть от них, чем жизнь от вас. Можете вы это понять! Уходите! Я задержу их.

Козлов зашипел на него.

— Слушай, ты, чокнутый! Ты, может, думаешь, что мне от тебя жизнь нужна! Чёрт с тобой, раз ты ненормальный!

Он сдернул куртку и, оставшись в своей гимнастерке, снова схватил автомат.

— Эх! Пропало дело! — выкрикнул он отчаянно и начал обсыпать очередями рожь, в которой уже совсем близко мелькали фигуры немцев. Очкарик тоже

стрелял полулежа, всё также неумело вытягивая руки вперед. Все лицо его покрылось потом, крупными каплями пота. Капли были, как слезы. Сморщенное, покрасневшее лицо его всеми мускулами реагировало на каждый рывок автомата. Но вот автомат его тупо хрюкнул и замолк. Очкарик, недоумевая, некоторое время еще продолжал давить на спуск, но потом, наконец, понял, что кончились патроны.

Козлов тоже уже расстреливал последний рожок. Ощущение конца было настолько сильным и гнетущим, что он потерял обычное хладнокровие и сыпал, сыпал, сыпал... и принял как должное, когда автомат его разом превратился в бесполезный кусок железа. Оказалось, что последние минуты стрелял он один. Оттуда, со стороны поля, не раздавалось ни звука. «Окружают?» — с тоской подумал Козлов и оглянулся, прислушиваясь. Тихо. Он взял автомат за ствол, до нестерпения горячий, вышел из-за деревьев, сделал несколько шагов вперед. Тихо. Оглянулся на очкарика. Тот лежал, прислонившись спиной к пню, запрокинув голову, выпятив кадык. Козлов вернулся, сел неподалеку, спросил примиряюще:

— До войны чем занимался?

Очкарик вздрогнул всем телом и прошептал:

— Замолчите!

Козлов ударил кулаком по земле, с размаху пнул подвернувшийся под ногу сучок.

— Ух! Был бы ты цел, набил бы я тебе морду, дураку! Разом бы дурь вылетела!

Очкарик хотел что-то сказать, но впереди, в поле, послышался лай собак.

Теперь стало понятно затишье. Лай быстро приближался. Все повторялось как в навязчивом сне, когда никак не можешь проснуться...

Когда овчарка взвилась в воздухе, Козлов встретил ее таким сокрушающим ударом автомата, что мог бы наверное проломить танк. Огромный откормленный

пес как мячик отлетел на землю с разваленной головой. Но снова вскинуть автомат Козлов не успел, выронил его и, выставив вперед руки, схватил вторую собаку за щеки. Оскаленная пасть брызгала слюной прямо в лицо. Пена стекала с обнажившихся красных десен, а клыки были похожи на патроны, вставленные в обойму другого, меньшего калибра. Лапами овчарка била его по груди, стараясь вцепиться в кисти рук. Он держал ее почти на весу, она лишь касалась задними лапами земли. Он держал ее, она держала его. Она не могла укусить, он не мог ее выпустить. Прямо на него бежали немцы. Не стреляли, правильно оценив положение. Получалось, что собака, эта дрессированная тварь, брала его в плен. Козлов опустил ее к земле и носком сапога со всей силы ударил куда-то под живот. Собака завизжала, задергалась сильнее, закрутилась. Он ударил ее еще и еще. Кровавая пена хлынула из пасти, заливая ему руки... но тут на Козлова упало небо и всей своей тяжестью придавило к земле.

* * *

В крыше сарая была широкая щель, и когда к Козлову возвращалось сознание, он всматривался в эту щель, и она на глазах становилась все шире и шире, и тогда казалось, что совсем нет никакой крыши над головой, казалось, что снова лежит он в поле и над ним только небо и тишина.

Но вот в голову врывалась боль, закручивая и раскручивая пружины, втыкаясь в мозг сотнями острых щупалец, молотками тараня виски, и тогда он весь растворялся в этой боли, терял ощущение жизни, превращаясь в один израненный нерв, который, как полураздавленный червь, извивался и корчился в агонии. Иногда вдруг возникал мираж. Один раз увиделось ему, будто идет он по широкому полю. На нем ослепительно белая рубашка, а в левой руке он воло-

чит по земле автомат. Он идет и вдруг видит перед собой того немца, который остался стоять на поляне. Только этот немец огромного роста, раз в десять выше него. Но стоит он точно в той же позе. Мертвые скосившиеся глаза его смотрят не в лицо Козлову, а выше него, туда, в головокружительную глубину России. И растопыренные руки, выронившие котелок, все также восклицают: «Вот тебе раз! Что же это происходит?!». Козлов громко хохочет и почему-то кричит истукану: «Ну, где твои четыре пятых?!»

Порою, на мгновение, боль уходит совсем, будто ее не было. Тогда Козлов приподнимается и спрашивает в темноту:

— Товарищ, слышишь! Ты жив?

Но ответа нет...

* *
*

Алексей Владимирович Самарин, преподаватель московского музыкального училища, был арестован по делу своего тестя, заместителя наркома. А с капитаном, что лежал теперь с ним в сарае в двух шагах, Самарин встретился там, в Богом проклятом краю, куда опьяневшая от инициативы и оптимизма Россия выбрасывала тонны щепок, эшелоны издержек производства от великого лесоповала.

В этом краю тоже шел лесоповал. Малый. Были также и щепки. Обычные. Древесные. Стояли последние дни единственного осеннего северного месяца. Дожди уже выдохлись, а снега еще не пришли. И эту незавершенность и неопределенность состояния природа пыталась компенсировать ползучим северным ветром. Ветер не срывал крыши с домов, не выворачивал деревья с корнем, не валил телеграфные столбы, но проходил сквозь всё живое тончайшими острыми ледяными веретенами, и всё живое перекручивалось, карежилось, мучилось судорогами постоянного,

изнурительного озноба. Всех живых в этом месте было около пятисот. Утром группами уходили они из своего загона в лес, вечером так же группами возвращались в сквозняковые бараки, чтобы отлежаться до следующего утра.

В эти дни у людей случилось несчастье. Кончилось курево. В обычной жизни внезапные несчастья часто бывают прихотью случая. Здесь же такое несчастье имело своего автора. У автора были погоны капитана, а именовался он начальником лагеря. Уголовники называли его «хозяином». Он действительно был полновластным хозяином тысячи людей. С этими людьми и для этих людей он мог сделать всё, кроме одного — освободить их. Но это ограничение в правах его едва ли угнетало, потому что он вовсе не испытывал желания их освобождать. Все же остальные события, происходящие с каждым из пятисот, так или иначе имели к нему отношение. Они были результатом его действия или бездействия... Последнее, по-видимому, было причиной того, что вот уже неделю в лагере не курили. Давно выпотрошены все дозволенные и недозволенные распорядком карманы, давно обшарены все возможные места обнаружения окурков, давно выменено всё, что можно выменять у надзирателей. Два дня назад Самарин видел, как мужичок с нар напротив со слезами ползал на полу и иголкой подбирал махоринки, неожиданно высыпавшиеся у него из ватника. Самарин был некурящий и не понимал страданий этих людей, но верил им и, будучи человеком мягким и впечатлительным, страдал вместе с ними. Не все, конечно, вели себя одинаково. Много было таких, кто не подавал вида, что страдает, и не опускался до выклянчивания у надзирателей и обшаривания мусорных ящиков. Но тон и настроение задавали не они. На четвертый день стихийно возникло несколько драк... К тому же ветер, — отвратительный, гнусный ветер, от кото-

рого не было спасения даже в бараках. К тому же работа...

Самарин работал на трелёвке. Очищенный от ветвей и сучков ствол петлей каната цеплялся за хвост и подтаскивался к дороге, где грузился на лесовозы. Тащить приходилось далеко, по кочкам, камням, петляя среди пней. Три человека на ствол. Это была одна из самых тяжелых работ. Итог этой операции давал цифру плана бригаде. Тридцать два человека уже пять дней работало вполсилы. Горел план. Точнее вот-вот должен был сгореть.

В сопровождении надзирателя, по кличке «крыса», в лагере появился сам «хозяин». Когда стих шум сотен голосов, капитан сказал:

— Нет махорки на складе. Рожать что ли ее прикажете!

Тишина повисла над лагерем. Нехорошая, опасная тишина. Но «хозяин» знал свое дело.

— Если завтра всем фронтом выйдете к пятьдесят шестой отметке, так и быть, сам сгоняю на базу и вырву пяток ящиков. Слышали? Фронтом к пятьдесят шестой. Махры нет. Вы дадите — я постараюсь.

И ушел.

То, что он потребовал, было невыполнимо. Отдельные бригады еще могли прорваться до отметки. Но фронтом! В некоторых бригадах треть людей больны. План эти бригады не давали, а перекрывались другими. Дойти до отметки для них значило дать больше двух норм...

Толпа развалилась на кучки. Тишина сменилась гомоном, постепенно возрастающим. Кучки зашевелились, стали перетасовываться, как карты в колоде. Потревоженным муравейником гудел, гомонился, суетился лагерь. Кто-то подсчитывал больных, кто-то некурящих. От последних многое зависело. С какой стати им надрываться! Начались споры, крики, речи. Кое-где даже мелькнули кулаки. К ночи решение было

принято. Дать! До конца месяца еще неделя. Значит минимум еще неделя без махорки. Дать!

На что рассчитывали люди? На которое дыхание? Где надеялись взять силы? А ведь надеялись. Самарин не верил. Но не возражал, как не возражало большинство некурящих.

Этот день ему не забыть. Уже к обеду двоих придавило. Один порубил ногу. Нельзя было назвать работой то, что люди делали в этот день. Это можно было назвать подвигом, если бы не цель... Если же не задумываться над целью, то это было даже больше, чем подвиг. К четырем часам несколько бригад вышло к проклятой отметке, и люди, не передохнув, бросились к отстающим участкам. Еще несколько травмированных было отправлено в лагерь.

Самарин перестал что-либо ощущать задолго до того, как их бригада перекатилась на новое место. Он не чувствовал усталости, он только знал, что если остановится, то упадет и не встанет. Может быть даже умрет. И он боялся конца работы. Вокруг него двигались, суетились люди, — он никого не видел, ничего не слышал, ничего не чувствовал. Сознание вообще и сознание происходящего словно отделилось от него и повисло где-то между ним и миром, образовав некое подобие духовного двойника его самого. Он или его двойник иногда бормотал что-то бессвязное и бессмысленное, а на это бормотание откликались тени, что сновали вокруг, откликались так же бессвязно и бессмысленно.

К шести вечера стало безнадежно ясно, что «не дать»..., что всё, что происходило здесь, оказалось напрасным, что чуда не произошло. Тогда люди начали падать там, где настигало их понимание поражения.

Долго, надрывно и злобно сгоняли охранники полумертвых людей в обязательные для следования колонны. Долго, утомительно долго ползли колонны, подгоняемые охраной, к своему проволочному плац-

дарму. И снова повисла над лагерем тишина, та самая тишина, что в таких случаях не что иное, как концентрированное выражение возможного действия — такого же беспредельного и отчаянного, как эта тишина. Но опять в сопровождении «крысы» появился «хозяин». Никто не поднялся с нар, когда он вошел в барак. Но это был еще не бунт — только безразличие и усталость... «Хозяин» прошел вдоль барака, остановился посередине, молодой, подтянутый, уверенный в себе и во всем, что за ним, сверкающий пуговицами, сапогами, фиксой во рту, и силой своей — сверкающий, как самородок благородного металла в куче утильсырья.

— Ну, так что же, ребята! — сказал он достаточно громко, спокойно и даже с ноткой сочувствия в голосе. — Порадовать мне вас нечем. Сами понимаете. Уговор дороже денег.

Эти слова словно разбудили Самарина. Он слез с нар, снял очки, положил под подушку, подошел к капитану и сказал четко и рубленно:

— Вы мерзавец!

Барак захлестнуло тишиной. В выжидательной стойке замер «крыса». Капитан ухмыльнулся, прищурясь оглядел барак.

— Надо понимать, он высказал ваше общее мнение?

Ехидная угроза прозвучала в этом вопросе. Самарин продолжал стоять лицом к лицу с «хозяином», выражая тем самым осознанную готовность к ответственности за свои слова.

Капитан презрительно оглядел его.

— А чего ты стоишь? Сказал свое и шагай. Или ждешь, что я тебя бить буду? Не буду. Пошел на место!

Недоумевая, Самарин направился к нарам. Так же недоумевая, «крыса» заглядывал в лицо «хозяину». Тот прошелся по бараку, остановился.

— Вот, что я вам скажу. На проходной лежат пять ящиков с махрой. И я собирался выдать их, хотя вы и не выполнили уговора. Но теперь можете растереть на махорку вашего уполномоченного и курить его до будущего месяца. Всё.

Самарин рухнул на нары.

А через полчаса к нему подошел бригадир и сказал:

— Слушай, Самарин, капитан в комнате нарядчиков. Иди, попытайся договориться. А то ведь, чёрт знает, что может получиться. Уголовники шумят. Мы, конечно, в обиду тебя не дадим, да не уследишь... И вообще...

И вообще бригадир тоже хотел курить, а махра была рядом...

Когда Самарин вошел в комнату, капитан сидел, развалясь на стуле, спокойный, ухмыляющийся. Нарядчики вышли. Они остались вдвоем.

— Разве ты не всё сказал?

Самарин набрал воздуху.

— Я погорячился... от усталости... прошу вас, дайте им махорку.

— А сам ты, что, некурящий? — с наигранным удивлением спросил «хозяин».

— Некурящий.

— Так какого хрена ты суешься не в свои дела?

Капитан поднялся, подошел к Самарину.

— Я мог бы пристрелить тебя, как последнюю тварь, но не хочу делать из тебя героя. Я проучу тебя. Там в бараке ты изображаешь из себя отважного интеллигента-народолюбца. А я хочу, чтобы ты сегодня понял, что раз ты здесь, то ты есть мразь, отребье народное, понял? Хоть ты и зовешься официально враг народа, но ты даже не враг, а мразь. Ты хотел пострадать за народ, ну так пострадай.

Капитан сел, вытянул вперед носок сапога.

— Видишь, из-за тебя сапог замарал. Язык, как я понял, у тебя длинный, ну-ка махни раз-другой!

Самарин с грохотом выскочил из комнаты, но на крыльце, на последней ступеньке замер. На улице было темно. И он не увидел, а услышал толпу, молча застывшую перед крыльцом. Люди ждали.

Самарин сел на ступеньку, обхватил голову руками.

Рискованную игру вел «хозяин». Еще неизвестно, как повели бы себя эти униженные и измученные люди, если бы Самарин рассказал им о том, что произошло в комнате. А итог?

Самарин поднялся и пошел назад к «хозяину». Тот словно знал, что он вернется, сидел в той же позе, так же ухмылялся и сверкал фиксой.

Самарин встал на колени, но сапог был низко, и ему пришлось опуститься на руки. В этот момент капитан обратился к нему, стоящему на четвереньках:

— А на воле ты чем занимался?

Самарин хотел промолчать, но сапог отодвинулся.

— Преподавал музыку, — глухо ответил он.

— Да? Ну, давай зарабатывай людям на махру, музыкант! — весело сказал капитан, подсовывая ему сапог.

Самарин решил убить его и убил бы, но капитана скоро перевели куда-то на материк.

И вот через три года Самарин встретил этого человека в колонне пленных, которых немцы отобрали для ремонта железной дороги. Самарин растерялся. За эти годы он так часто представлял себе эту маловозможную встречу, так верил, что месть снимет с его души груз непреодолимой боли, мерзкую жабу, упавшую ему на грудь, мешающую жить и даже мешающую умереть, потому что лично для него даже война ничего не списала...

В том, что капитан его не узнал, было что-то еще более обидное и унизительное. «Что с ним сделать? — лихорадочно думал Самарин пока их вели к

месту работы. — Избить? Убить? Опозорить?» Он представлял себе и то, и другое, и третье и разом понял, что какое бы решение он ни принял, он не будет удовлетворен. Он понял, что всё случившееся в лагере, непоправимо: что никогда не забыть ему унижения, никогда не расстаться с болью. Рана его смертельна. Никакой компенсации быть не может. Но страшнее всего было то, что капитан не узнавал его. «Может, потому что я без очков?» — думал Самарин и несколько раз нарочно сталкивался с ним лицом к лицу. А кончилось это тем, что капитан подскочил к нему с просьбой закурить. Это «закурить» окончательно сломило Самарина. Трудно сказать, какое решение принял бы он, если бы капитан не устроил побег. Самарин всё же ударил его, ударил здорово, хотя бил человека впервые в жизни, даже рука онемела. Он еще пнул его и хотел испинать своего врага, но с отчаянием обнаружил, что врага нет. Нет врага. А боль есть. И некому ее вернуть. И жить с ней невозможно...

* * *

Их поставили тут же, у сарая. Дальше они не могли идти. У Самарина опухли обе ноги, он даже не мог стоять. Козлов, сам еле удерживаясь на ногах от головокружения, вытащил его из сарая. И теперь они стояли рядом, точнее, один почти висел на плече другого.

Наступил вечер. Прояснилось небо. Только там, в западной стороне, кто-то будто из двустволки выстрелил вплотную по ястребу, и перья веером разлетелись по всему небу, а на самом хребте зари, как окровавленные куски, подсвеченные изнутри ветровым закатом, обрывки облаков...

Поддерживая Самарина, Козлов повернулся к нему лицом и с больной улыбкой сказал:

— Прощаться будем. Может, перед смертью скажешь, за что морду бил?

Самарин взглянул ему в лицо, хотел ответить словами, которые придумал заранее. Эти слова должны были быть словами прощения. Он почти вплотную приблизился к Козлову и вдруг увидел, что у того нет фиксы. Он чудовищно ошибся.

— Боже мой! — вскрикнул Самарин.

Сбоку раздался гром и вошел в них обоих острым голосом смерти. Они вздрогнули, отшатнулись и упали в разные стороны…

ПЕРЕД СУДОМ

Какого цвета бывает предчувствие? Разного, наверное! — грязно-серое, пухлое, клочками, с мазками черными, тупыми, одним словом, паучье что-то — это предчувствие беды. А хорошее предчувствие — это, конечно, голубая, тонкая, ослепительная, вдруг обнаруженная и следующим движением потерянная щель в старом чердаке. А может быть, вовсе никакого предчувствия не существует, а есть лишь глубоко упрятанное знание последствий. Да ведь подумать только, если существует предчувствие случайного, совсем случайного, не имеющего никакой связи с прошлым и настоящим, то куда же деваться нам с нашими четкими формулами жизни? И что тогда думать нам о себе, о нашем опыте? И как и за что тогда нам уважать себя?

Нет, тайны не нужно, не нужно мистики, иначе трудно будет жить. А в жизни мы так много должны, нам так много надо. И мы давно и твердо знаем, что всё, что нам надо и что мы делаем — всё это важно и существенно, даже первостепенно, а во всем прочем виновато наше несовершенство, в котором мы, откровенно говоря, не виноваты. И если еще откровеннее, то вообще нет вины, а есть лишь беда. А разница налицо. Вина требует осуждения, беда — сочувствия. Сочувствие не есть участие. Оно лучше, потому что бесполезнее, оно малинового цвета, оно такое мягкое и теплое, как ирландский свитер, как женщина, которую вы любите лишь чуть-чуть, как друг, которому вы ничем не обязаны...

Беда и сочувствие — это так понятно! Беда и участие — уже сложнее. Вина и участие — это уже мистика! Там и гнездится предчувствие, которое воисти-

ну рабство! Случись однажды ему исполниться — и пропало дело. И пропала радость жизни.

Взять бы, да раз и навсегда решить, что нет его, этого томящего, парализующего жжения, этой явной бесовщины (а как иначе), взять бы... Но нельзя! Ведь без всего бессознательного да подсознательного и человек уже не человек, а расчетная установка.

Нельзя...

I

Газик повернул на центральный тракт. Сницаренко еще с километр вел машину, потом отдал руль Володе, пересел на заднее сиденье и попытался было заснуть, но тотчас же снова, откуда-то изнутри, вынырнуло и защипало сердце это тошнотворное ощущение где-то за плечом, над головой нависшей беды. Впервые оно появилось вчера, когда он получил вызов на совещание. Обыкновенный вызов на обыкновенное совещание. Но всю ночь ныла раненая нога, и утром проснулся с тем же ожиданием чего-то неприятного. На мгновение даже показалось, что стоит ему хорошо подумать, вспомнить что-то очень существенное, но забытое начисто, и он узнает, к чему ему нужно готовиться.

И ведь есть же, наконец, мысль, трезвая, спокойная, беспристрастная! Нужно только отдаться ей полностью, отключив эмоции, отбросив второстепенное. Нужно все спокойно, очень спокойно проанализировать, и тогда неясное станет ясным, а то, что им не станет, просто перестанет быть. Только так! Откинуться на сиденье, расслабить мускулы, можно закрыть глаза или смотреть на что-нибудь бесцветное, неинтересное, например, серый пиджак шофера или хотя бы просто не смотреть в окно, чтобы не цепляться взглядом за мелькающие предметы. Ровный, монотонный рокот мотора — это очень хорошо. Онниве-

лирует и поглощает в своей монотонности все шумы, способные помешать, отвлечь.

Вот так. А теперь можно спросить себя: так в чем же дело?

18 лет тому назад

— Дело вот в чем...

Шитов осторожно надел изящную хрустальную рюмку на горлышко бутылки, чуть отодвинул ее в сторону, словно специально для того, чтобы между ним и Дмитрием не было никаких посторонних предметов, поставил локти на стол, хрустнул пальцами, уперся в них подбородком.

— Два месяца назад, а могу точнее, в ночь на шестнадцатое мая, между деревнями С-е и П-а неустановленными лицами были спилены пятьдесят два телеграфных столба. Диверсия не из самых страшных. Но, прибыв на место, я пришел к выводу, что это вообще не диверсия. То есть, как факт, ущерб, конечно, налицо, но идея, так сказать, у бандитов была совсем другая. Ну-ка, прикиньте сами, лейтенант! Вы ставите перед собой задачу вывести из строя телеграфную линию. Как вы будете спиливать столбы? Учтите к тому же, что в вашем распоряжении ночь, а ведь еще нужно замести следы! Ну так как?

Дмитрий пожал плечами.

— Чёрт его знает как. Пилить да и всё! Быстро — главное...

Шитов поморщился.

— Конечно же нужно пилить так, чтобы столбы нельзя было больше использовать. Значит, как можно выше. Но представьте себе, столбы были срезаны на уровне земли, под корешок. Перекладины сбиты, но провода порваны лишь в нескольких местах. А что проще, как перервать провода! В общем, картина для меня была ясна!..

...Грешил Шитов. Картина стала для него ясна лишь на другой день, когда ему доложили, что следующей ночью исчезли столбы. Он тогда долго и зло кричал на уполномоченного. Три дня подряд метался он с отрядом по окрестным деревням, выспрашивал, допрашивал, угрожал. Но на след не напал. Если бы он сразу догадался и устроил засаду! Но не догадался, а лишь поехидничал в адрес неумелых диверсантов. Ведь назавтра линия была бы восстановлена. Была бы. Если бы не исчезли столбы. Пятьдесят два пятиметровых столба. И в его районе появился новый бункер с долговременной и прочной крепежкой.

Бункер это — пепелища от сельсоветов, это — трупы уполномоченных и партийных работников, это — враждебная литература, это — настороженное молчание деревень, это — многозначительный тон областного начальства, это — постоянное знание личной опасности, от которого устаешь...

Но нет, Шитов не сидел без дела. За эти два месяца ему все же удалось кое-что сделать, а теперь он намеревался пустить в ход главный козырь. Им должен был стать Дмитрий Сницаренко, лейтенант разведроты, украинец, харьковчанин двадцати четырех лет. Шитов сам отобрал его из кандидатур, представленных ему областным оперативным отделом. И решающим, пожалуй, была исключительная внешняя национальная выразительность лейтенанта. Было в нем что-то от гоголевского парубка, у которого природная мужественность подчеркивается не резкостью черт, а напротив, вызывающей мягкостью и плавностью линий. Ну и соответствующая аттестация в деле — само собой. Теперь, если парень сработает точно, он, Шитов, без всех этих хлопотливых облав, засад, погонь, без лишней суеты, разом и эффектно покончит с подпольем в районе. Вот так!

. . . .

— Вот так! Общую ситуацию ты знаешь.

Шитов перешел на «ты». К этому привел двухчасовой разговор. К этому обязывали их будущие отношения.

— Ситуация в нашу пользу. Националисты на выдохе. Три года назад их основные силы прорвались через Чехословакию на Запад. Кто прорвался, кто нет, словом, ушли. Здесь остались партийные функционеры и диверсионные группы. Опыт подполья у них большой. И поддержка еще есть. Но все равно на выдохе. Их база — деревня, а деревня уже устает. Не война — не мир, а уже сколько лет между двух огней. И перед нами задача — как можно быстрей, как можно эффективней, с минимумом потерь. Эффективность — наша главная агитка!

Шитов пододвинул бутылку, наполнил рюмки.

— За удачу!

Дмитрий потянулся было к нему, но Шитов остановил его, таинственно подмигивая.

— Э...э! Не так! Это же хрусталь! Немецкий! Возьми ножку только двумя пальцами, легко..., не сжимай, чуть-чуть поддерживай равновесие! Молодец! Теперь подводи рюмку снизу, чтоб они коснулись краями, только коснулись, как чайка волны... и... вверх! Ну!

Тонкий, нежный, мелодичный звук возник над столом, всплыл к потолку, проплыл вдоль комнаты и ушел в окно.

— Камертон! — ухмыляясь, почти прошептал Шитов. Потом он еще некоторое время пристально рассматривал рюмку, как бы пытаясь постичь тайну немецкого хрусталя, и вдруг, тут же с размаху швырнул ее в свободную от мебели и декораций стену сзади Дмитрия. Тот вопросительно взглянул на своего начальника.

— Валяй!

Вторая рюмка последовала за первой...

Проводив Дмитрия, Шитов сначала веником собрал осколки стекла, промел их на кусок газеты, унес на кухню. Потом достал из серванта рюмку — точного близнеца только что разбитым, — наполнил ее, на ходу отпивая маленькими глотками подошел к дивану, лег с ногами, потом пустую рюмку опустил на коврик...

Оставалось продумать немногое, но весьма существенное. Нужно было предусмотреть возможное вмешательство начальника Отдела по борьбе с бандитизмом Калиниченко. До него бывший начальник ОББ, ушедший на повышение, был человек осторожный, и Шитов отлично ладил с ним, в том смысле, что почти мог игнорировать как инициативную единицу. Но Калиниченко жаждет деятельности. В области Шитову удалось пронюхать, что его новый коллега брошен в его район после какой-то темной истории, которая повлекла за собой гнев начальства и опалу.

Но Шитов — тертый калач. Он знал, что гнев может быть гневом, опала — опалой, а своя рука во Львове у Калиниченко осталась наверняка. Во всех историях бывают виновники и бывают козлы отпущения. Очень уж походил капитан Калиниченко на такого козлика. Пройдет время, отрастут поломанные рожки, козлик скажет: бэ! и обернется волком.

А потому трудная задача перед Шитовым: с одной стороны, сохранить хорошие отношения, а это не так просто, ведь формально Калиниченко ему подчинен, с другой — удержать за собой инициативу в районе, что еще труднее, — начальник районного ОББ фактически самостоятелен в действиях и по существу подчиняется областному ОББ. В пользу Шитова, что функции его и Калиниченко почти не разграничены, и кроме того, как ни как, а оперативная работа — уж это его законные владения. Против Шитова положение об истребительных батальонах, которые столь же определенно отнесены в функции ОББ. Впрочем, эф-

фективность этих отрядов в последнее время значительно снизилась, как и вообще всего ОББ. Кому об этом судить, как не ему, Шитову! Он в районе с момента освобождения. Похоронил два состава своего отдела. Первый раз, когда части УПА в сорок пятом году захватили районный центр неожиданным ударом, марш-броском вырвавшись с Карпат, Шитов в этот день был на операции в одной из восточных деревень района. Уже на другой день националисты с большими потерями были выбиты и ушли в леса, оставив у подъезда ГБ шесть трупов сотрудников Шитова. Гробы на кладбище несли вновь прибывшие работники отдела. А через полгода четверо из них были убиты во время ночного нападения националистов на районную тюрьму. Шитов тогда отделался пустяковой царапиной на шее.

Вот в то время и были созданы в помощь органам отделы по борьбе с бандитизмом, тогда же сформированы первые истребительные батальоны из местного населения, в основном из молодежи. Но трудно было им тягаться с противником, у которого за плечами был многолетний опыт подпольной борьбы. Шитов помнил скандал в соседнем районе, когда весь отряд из двадцати пяти человек был разоружен двумя бандитами. Об удачных действиях «ястребков» писали районные и областные газеты. Но Шитов знал и то, о чем не писали в газетах. Бандиты есть бандиты. Для власти любой, кто против нее, — бандит. Но Шитов много видел этих людей. И чаще видел их мертвыми. Они стрелялись в одиночку, взрывались группами в бункерах и подпольях, замерзали в зимние метели, уходя от преследования, прорываясь из окружения. Они расстреливали трусов и жестоко расправлялись с теми, кто отказывался им помогать или сотрудничал с врагом. Шитов не понимал их и не хотел понимать. Но он отдавал им должное, и это во многом определило его действия.

«Националистические банды» — так именовал он их в докладах и отчетах. «Жертвы буржуазной пропаганды» — это в беседах с местным населением, с тем самым местным населением, которому полагалось по совершенно точно доказанным теориям быть предельно лояльными к нему, Шитову, и предельно враждебным к «жертвам буржуазной пропаганды». И если бы только полагалось! Но от Шитова требовали и эту лояльность, и эту враждебность, к тому же — в массовом качестве!

Всякая примитивно-категорическая установка имеет и свои удобства. Хотя бы уже тем, что не проявляет особой щепетильности относительно чистоты методов. Шитов знал существующую систему как свои пять, потому он не корпел ночами над отчетами, а делал это походя, экспромтом, давно выработанным ключом. Он не валил на трудности, что особенно невпечатляюще в глазах начальства, не пересыпал фактами, что весьма утомительно для начальства, не давал слишком громких обещаний, — когда слишком, то чревато... Он начинал с главного — вскрывал «прогрессивную тенденцию», а затем коротко, но убедительно доказывал соответствие своих действий данной «прогрессивной тенденции». Против «прогресса» начальство по крайней мере не рубит с плеча. И потому капитан Шитов был на хорошем счету у начальства.

Было у него еще одно обстоятельство, делающее его позицию почти неуязвимой: Шитов не рвался на повышение, так как не обманывался относительно своих способностей. Он трезво отдавал себе отчет, что дальше района и выше майора ему не прыгнуть. Потому предпочитал не надрываться, а извлекать возможные преимущества из своего положения.

Как удержать инициативу в своих руках в предстоящей операции? Вот над чем ломал он голову после ухода Дмитрия. Без Калиниченко ему не обойтись, но

тогда придется пожертвовать информацией. Начнутся возражения, утряски, согласования. Калиниченко наверняка будет выговаривать себе соответствующую роль в деле.

Перед глазами Шитова возникло остроносое, остробородое лицо Калиниченко с постоянной настороженностью в глазах. Нет, его конкурент был явно поганый мужик. Женился на девчонке-психопатке, таскает ее с собой на операции, наверно, чтоб храбрее быть. А эта черномазая дурочка с него глаз не сводит. Еще бы! Герой! На коне, с пистолетом, сапоги-блеск, чуб на глаза! По их приезде был Шитов у них в гостях. Потом плевался всю ночь. Калиниченко сидел — будто лопату проглотил. Как ни старался Шитов упростить обстановку, все напрасно. Ушел, последней рюмки не допив...

...На кухне шаги. Вернулась Ирина. Шитов закрыл глаза, притворился спящим. Ирина заглянула в комнату, увидев Шитова в сапогах на диване, бесшумно подошла, взяла рюмку, поставила на стол, потом осторожно коснулась плеча мужа. Он не пошевелился. Тогда она так же осторожно, не спуская с него глаз, стала снимать с него сапог, но Шитов вдруг резко вскинулся, взревел, оскалился и схватил ее за руку. Ирина ахнула, вырвалась и бросилась от него к двери, но тут же остановилась и, повернувшись только головой, укоризненно посмотрела на катающегося по дивану от хохота Шитова. А он колотился всем своим грузным телом по пружинам и бил сапогами о круглый, обтянутый цветастым подлокотник дивана. Когда утих, задыхаясь и вытирая слезы, она все так же, не поворачиваясь, тихо, без обиды, и вообще без всякого выражения в голосе сказала:

— Може знимитэ чоботи.

Шитов сбросил ноги, хлопнул ладонью по дивану.

— Сядь!

Она послушно, но без робости, села рядом, поправила юбку, сняла косынку на шею и, когда он обнял ее за плечи, и повернул к себе, не отстранилась и не прильнула к нему, а лишь подалась чуть-чуть, ровно настолько, сколько нужно для того, чтобы выразить человеку свою верность и нежность.

— Хотила муки дистаты, две годины простояла в чрези, але мыни не дисталось... Ох, и моторошне житя...

Она говорила и смотрела на него прямо и спокойно. Такой вот взгляд сам по себе может составить целое счастье для мужчины, если ему за сорок и если он определенно знает, что он не Бонапарт. И неудивительно! Ведь в таком взгляде не отражается ничего, кроме самого тебя. Весь он всеми своими уголками заполнен только твоими думами и желаниями, а все другое и все другие — словно другое измерение...

Шитов считал, что ему повезло. Однако к этому везению он крепко приложил руку.

Во время одной облавы в деревне своего района он, окруженный автоматчиками, с пистолетом в руке ворвался в очередной дом. Первый же осмотр показал, что искомого нет. В доме вообще не было никого, кроме женщины, которая с самого начала и во время обыска и после него как встала в простенке между печкой и буфетом, так и стояла, сведя руки к подбородку и, казалось, даже не смотрела на мечущихся по дому солдат. Шитов, обозленный неудачей, подскочил к ней и зарычал:

— Куда девала своего выродка?!

Тогда она будто очнулась и посмотрела ему в глаза. И хотя в ее взгляде не было ни вражды, ни страха, Шитов тогда не обратил на нее внимания. Она была лишь одна из многих. Он что-то крикнул ей еще, она опустила глаза и, проследив ее ускользающий взгляд, Шитов увидел на чистом, выскобленном полу, на са-

модельных тряпичных ковриках лепешки грязи с сапог его солдат, с его собственных сапог.

— Одна я.

И снова она смотрела ему в глаза.

— Загубився мий сын. Одна я.

В ту ночь Шитов притащил с собой в район целый хвост матерей, стариков, невест. Через день-другой этот хвост пополз назад по своим деревням, хатам. А ее, Ирину, Шитов держал в КПЗ, держал, злоупотребляя служебным положением, держал, нарушая законность (чего там законность!), держал, нарушая всё, что можно нарушить в этом случае. Сначала она просто нравилась ему, как нравились многие. Ей было тридцать пять или тридцать шесть, и выглядела она не моложе своих лет, может быть, чуть старше. Горе прогулялось по ее лицу штрихами скорби у глаз и губ, запечатало взгляд усталостью. Но оно же открыло в ней красоту совсем иную.

Сначала она нравилась ему, как нравились многие. А скорее всего, он только так думал, потому что с самого начала она уже не была для него как все.

Только первый допрос ее был собственно допросом. Шитов, как всегда в таких случаях, угрожал, хитрил, уговаривал, выспрашивал, сочувствовал. Со спокойной совестью он обещал ей, что если она скажет, где ее сын, — отпустит его; или откровенно и цинично угрожал через несколько дней привезти труп ее сына. Она знала меньше него. Она больше, чем он, хотела знать о своем сыне. Открыла она ему совсем другое: оказалось, что Ирина есть та самая женщина, которая уже давно нужна ему, Шитову!

И если в первые дни он задерживал ее у себя, не признаваясь в собственной корысти, то потом уже делал это с наглым упрямством, отчетливо сознавая, чего хочет. И когда потом обещал ей спасти сына, если найдет его, то знал, что действительно спасет, что пойдет на любые нарушения, и что даже готов

нести ответственность за свои действия, которые, само собой, корыстны и преступны с точки зрения закона и совести.

Он искал ее сына, как искал бы своего собственного. Он даже начинал испытывать подобие отцовского чувства, был удивлен этим и даже расстроен.

Он отпустил ее и ждал целых четыре дня, если не все восемь, потому что почти не спал.

Она пришла к нему, и была радость. Потом была непривычная, противная дрожь в руках, когда просматривал списки убитых в других районах. В одном из них он нашел то, чего не хотел найти — фамилию ее сына. Потом был тот страшный вечер, когда он, оставив список с подчеркнутой фамилией на столе, ушел и до закрытия просидел в единственном ресторане. Воистину был страшный вечер. Ведь не только все решалось, но и все проверялось: проверялось, искупил ли он, проверялось, повезло ли ему... В двенадцать ночи стоял он у поворота улицы, откуда, сделав еще два шага, можно было увидеть окна его квартиры. Они могли быть освещены. Они могли быть темны. Чтобы узнать, нужно было сделать всего два шага. И он струсил, он испугался ночи, которую ему, возможно, предстояло провести одному. Других ночей он не боялся. Только этой, первой... И он ушел закоулками к одному из своих сотрудников, холостяку, и просиделпробредил у него до утра. Утром в шесть уже был у себя в кабинете. День промелькнул, как мука пыточная, и только в пять вечера он каким-то не своим, хриповатым голосом назвал телефонистке номер домашнего телефона.

Квартира ответила.

Когда, не сказав ни слова, он опустил трубку... несколько минут боролся с насморком, и справился, потому как был мужчина, видавший многое...

Ну, а после он привык к своей удаче и позволял себе небрежность и грубость даже. Но всё равно, удача

оставалась удачей: Шитову уже было за сорок, он не был Бонапартом и уже не наступал на жизнь, а только защищался от нее. А тому, кто защищается, нужно иметь, куда отступить. Тыл Шитову был обеспечен.

Сегодня у него хорошее настроение. А когда у Шитова хорошее настроение, он вот так, как сейчас, сажает Ирину около себя, гладит ей плечи и спрашивает, хихикая и подмигивая:

— А красивая ты была в девках, Ирка!

Она не рисуется и не прибедняется. Отвечает просто.

— Яка корысть з мией красы.

Тогда он крепче сжимает ее плечи, нарочито насупясь, говорит:

— А вот завтра отстрелит мне ваша шпана ногу или руку, ведь знаю, убежишь! Убежишь?

Скажет, нахмурится, а сам млеет каждой клеткой, когда она ему отвечает:

— Як що сами не прогоните, то и я не уйду.

— Любишь? — глупо спрашивает он.

— А чому мени не любиты вас? Вы добрий.

— Добрый! — хмурится он. — Я людей убиваю!

— Вись свит в крови, — говорит она тихо.

Вот так обстояло дело с личным вопросом у начальника районного отделения МГБ Ильи Захаровича Шитова. Была у него служба, к которой он относился добросовестно, были у него враги, с которыми он был не более жесток, чем все в его время, была у него женщина, для которой он был добрый...

А был начальник районного отделения ОББ Калиниченко, хлюст и выскочка, которого нужно было во что бы то ни стало обойти и оставить с носом, или грош цена Шитову в базарный день!

И как раз, когда он обнимал Ирину, когда купался в теплом смородиновом море ее взгляда, когда уже оставалось только захлебнуться и исчезнуть, тогда-то,

чёрт возьми, и пришла ему в голову отличная мысль, и настолько она была отличной, что Шитов не пожалел даже, что она появилась не вовремя, откровенно говоря, совсем не вовремя. Но она пришла и осенила, и Шитов, бросив Ирину, вскочил с дивана, махнул через комнату и коршуном упал на телефон...

II

Вокруг, куда ни глянь, холмистое, сытое, пестрое тело полей. Как незначительные, несущественные ущербинки на сильном молодом лице — у стыков холмов овраги, кривые, узкие, вспотевшие от упорной борьбы за существование. В их ложбинках и отрогах рождается и выползает на холмы кустарник-орешник, черемушник. Где-то это уже не кустарник, а гостеприимный лесок. Островки таких лесков как сторожевые посты вдоль мира плодородия. Шелест их листвы перекликается над холмами, над дремлющими полями, скатывается в ложбину, где деревня — мозг и нерв всего этого огромного, умного тела.

Деревня в одну улицу на полтора километра. Домишки с окошками, как косточки домино. По обоим краям ленты домов и палисадников взбившейся зеленой пеной — сады, между ними — квадраты и прямоугольники огородов.

В деревне — ни суеты, ни шума. Деревне нужна тишина, чтобы слушать голоса полей и колокольный звон из-за холмов. А все голоса и шумы, какие бывают здесь — это лишь подголоски одной большой зеленой тишины, той, что своим ароматом заполняет все и вширь и вверх до самого неба, где оседает голубым, опрокинутым кристаллом.

Ночью, когда тишина уходит в темноту и небытие, этот кристалл миллионами глаз щурится вниз, в пустоту, растворившую в себе формы, цвета, звуки, потом падает на землю белым рассветом, воссоздавая

заново все, что было до этой ночи, распадаясь спектром земной пестроты. Ежедневное рождение чуда начинается с косого холма, куда тупым концом нацелена деревня, куда она пытается доползти, а пока лишь замахивается на него засушенным щупальцем дороги.

На том месте, где щупальце перекатывается на другой склон холма, в тот час и миг, когда с восточного горизонта бесшумно откалывается и падает, рассыпаясь, первый пласт утреннего тумана... однажды в это самое время там появился и замер всадник...

Потоптавшись на месте, он уже через мгновение нырнул в долину, еще лежащую во мраке, досматривающую утренние сны. Галопом влетел он в темный коридор домов и заборов, встревожив дворовых собак. Где-то на середине деревни он повернул коня, метнулся было назад, но остановился, словно решая что-то. Еще раз развернул коня и снова поехал вперед, теперь уже шагом, подъезжая то к одному, то к другому дому или забору, пока вдруг чуть не врезался в молчаливую парочку, прижавшуюся к дощатой калитке.

— Где дом Петра Гнатюка? — спросил он тихо.

Ему не ответили. Люди деревни не любили незнакомых, задающих вопросы.

— Вы что, оглохли! — зло прошипел всадник.

— Четвертый дом с того краю.

Ответила девушка.

Через минуту он уже стучал рукояткой большого нагана в раму темного окна, за которым проснулись подозрительно быстро, а отзвуки возникшей суеты слышались сквозь рамы. За калиткой взвизгнула наружная дверь, и тени предметов вдруг заколыхались, закачались, сшибая друг друга, сплетаясь и расплетаясь, перемещаясь с места на место. Это кто-то вышел во двор с переносной лампой-лихтарней, с которой обычно ходят по хозяйству — скотину проведать или в погребок за выстоянной бутылью...

Вышедший был старик или казался им в перекрестках розовых языков качающейся лампы. Он подошел вплотную к незнакомцу, поднял лампу и хотел было поднести ее к лицу незнакомца, но крепкие пальцы сжали его руку выше кисти, и лихтарня подалась в обратном направлении, чуть ли не к носу старика, так что он вынужден был зажмуриться и отпрянуть. Однако старик опомнился быстро и не без угрозы, но спокойно потребовал:

— Пусти руку!

— К обеду, Гнатюк, жди гостей. А родственникам лучше убраться...

И хотя лишь мгновение потребовалось незнакомцу, чтобы вскочить в седло и бросить коня в темноту, но старик успел вскинуть лихтарню и обомлел, увидев хромовые офицерские сапоги и офицерские галифе из-под кожаной куртки всадника. Впрочем, едва ли тот хотел скрыть от взора старика свою одежду. Он мог бы переодеться заранее. Что проще. А вот лицо свое он скрывал, но недооценил цепкость глаз старого Гнатюка...

Через минуту-другую ночной гость уже вспорхнул маленькой тенью на горбу восточного холма и тотчас же упал по ту сторону его.

Тогда старик поспешно засеменил по двору, почти вбежал на крыльцо. Последний раз качнулись тени построек и заборов, и дверь поглотила старика с лампой. А через некоторое время из этой же двери вышли во двор шесть человек, одетых явно не по сезону. Четверо держали навскидку автоматы, в темноте похожие на остывшие головешки, а у двоих автоматы были за плечами, — руки им чуть не до колен оттягивали пузатые корзины. Молча, цепочкой, прошли они в глубь двора, через низкую калитку в сад. И по саду шли беззвучно. И могло показаться, что идут они по специально раскатанной, очень узкой ковровой дорожке. Уперлись было в забор, но прошли сквозь него,

как тени, и исчезли в кукурузных джунглях, что начинались сразу за садом и уходили за пологий холм, на мягком животе которого уже развалилось розовощекое утро, небрежно разбросав полы своего отсыревшего плаща по склонам и соседним холмам.

III

Шитов нервничал. Он уже знал, что Калиниченко несколько минут назад вернулся. Всё должно было пройти, как по нотам. Осечка почти исключалась, а Шитов все же нервничал. Слишком крупную игру он затеял, ставки предельные, а привычки к такому у него нет. Было страшновато, но в то же время он испытывал головокружительную радость от сознания, что сам решился на такую авантюру, сам додумался до нее, взял на себя всё. Всё! Оказывается, очень даже приятно — брать на себя всё, есть в этом что-то омолаживающее, бодрящее. Ему даже подумалось, что будь он посмелее в свое время, может быть удалось бы ему и прыгнуть дальше. Но здравый смысл подсказывал другое: что голова у него все-таки одна, что она ему еще нужна, а потерять ее, зарвавшись, в наше время — раз плюнуть! Такие головы слетали — ахнешь! Он, конечно, нынче молодцом, но это в первый и последний раз. Он человек пожилой, рассудительный и не тщеславный, и суета ему не нужна. Пусть такие вот Калиниченко ломают дрова, а кто из них выживет, еще неизвестно.

От мысли о Калиниченко снова засосало под ложечкой. И в тот же момент он услышал четкие, твердые шаги в коридоре. Отворилась дверь, и без стука и приветствия в кабинет вошел Калиниченко.

Да! На него стоило посмотреть! Желваки метались на острых скулах, острый нос обострился еще больше, а кончик его побелел, как от мороза. Глаза зрачками двустволки дали дуплет по Шитову и упер-

лись в бюст Дзержинского, что в простенке за шитовским столом. Вонзенные в планшетку пальцы выпяченными суставами кричали о ярости и еще о чем-то, от чего Шитов вдруг почувствовал, что в кабинете у него прохладнее обычного.

— Что случилось, Василий Григорьевич? — спросил Шитов. И это получилось у него очень естественно, хотя именно первого вопроса он больше всего боялся.

Тонкие бледные губы дрогнули и со скрипом выбросили:

— Пусто.

— Ушли! — ахнул Шитов опять очень естественно.

Зрачки напротив сидящего теперь уже спаренным пулеметом хлестнули по Шитову.

— От меня не уходят! В три часа утра кто-то верхом приезжал в деревню со стороны района и предупредил Гнатюка.

«Вот гад, даже время установил!» — с ненавистью подумал Шитов, участливо и деловито вглядываясь в лицо начальника ОББ.

— Я располагал абсолютно точными сведениями, — вырубил Калиниченко, а Шитов злорадно ухмыльнулся про себя: «Еще бы неточными, сам тебе их подкинул! Дурак ты, братец, как есть дурак, несмотря на весь твой фасон! Хлюст!»

Однако в кабинете становилось все холоднее и холоднее. Шитов поежился, в то же время мимикой изображая напряженную работу мысли.

— Ваши предложения? — спросил он просто и деловито. И снова порадовался на себя.

Калиниченко поднялся, положил планшет на стол, обошел Шитова и остановился перед бюстом железного Феликса в позе испрашивающего благословение.

Когда такой тип заходит вам за спину — ощущение не из приятных. Но Шитов не шелохнулся и не

повернул головы, лишь сжался так, что прошел озноб, и даже как-то не заметил, когда Калиниченко снова появился перед ним в кресле. Теперь зрачки под редкими белесыми ресницами беспрерывно работали очередями, и фонтанчики от пуль выплясывали дьявольский танец под самым носом у Шитова.

— Кто знал о предстоящей операции, Илья Захарович?

Шитов побагровел. В эту минуту он даже как-то забыл, что сам — автор этой комедии, и почувствовал неподдельную ярость. «Щенок! Подозревает его и даже не считает нужным это скрывать!» С каким удовольствием двинул бы Шитов тяжелым мраморным пресс-папье по барсучьей физиономии начальника ОББ или просто по-мужицки обработал бы кулачищами, или всадил бы пол-обоймы в этот гладкий обтянутый лоб!

Но не двинул, не обработал и не всадил, а наоборот, сказал тоном наставника и старшего по должности:

— Не горячитесь, Василий Григорьевич! Если у вас есть какие-то предположения, давайте их обсудим. Что вам известно об этом ночном всаднике?

Трудный тип! Фонтанчики от пуль стали забрасывать пыль в глаза Шитову, и он, воспользовавшись первой же возможностью, опустил их на бумаги, что были перед ним, набираясь сил для новой короткой перебежки. А чего, собственно, ему бояться! У Калиниченко ведь нет никаких доказательств, хотя промах уже сделан: кто-то видел Дмитрия. Даже в самом худшем случае Шитов выкрутится перед начальством. Так было нужно, и он не обязан посвящать во все свои дела и планы начальника ОББ.

Логика придала Шитову уверенности. Он поднял глаза, мощным точным залпом сознания своей правоты тут же подавил противника и в полный рост... встал из-за стола.

— А самое лучшее, мне думается, Василий Григорьевич, вам сейчас отдохнуть. Утром мы с вами на трезвую голову всё обсудим.

— Кто этот лейтенант, которого вы мне дали на облаву?

Проклятый пулемет ожил, но теперь он брал слишком высоко.

— Лейтенант Сницаренко послан областью для ознакомления с ситуацией. Кажется, его хотят назначить в какой-то район, а у нас он должен набраться ума. Ваша неудача сегодня для него, конечно, полезный урок. Впрочем, вы можете изложить свои соображения областному начальству, если вы имеете что-нибудь против него. Но, сами понимаете, это — путь скользкий...

Прямое попадание. Калиниченко обмяк, глаза потухли, плечи опустились. Теперь он был похож на ястреба, который волка принял за кролика. Он встал, сухо попрощался и вышел из кабинета.

И лишь когда шаги его затихли в конце коридора, Шитов облегченно опустился в кресло, собираясь посмаковать победу. Но, однако, кроме усталости ничего не чувствовал. Незнакомая ранее апатия опутала все тело и душу. И ни капли удовлетворения, ни капли радости — только равнодушие и усталость...

Не по плечу взял себе нагрузку Илья Захарович. Не по себе. Привык он жить прямо, рубить с плеча, хитрить только согласно инструкции, обманывать тоже только в согласии с ней, если нарушать, так в открытую, в наглую, плюя на все. Некоторая доза нарушений и своеволия предусматривалась его должностью. Ему этой дозы хватало. Да и вся его работа характером своим, своими методами и принципами затушевывала и саму разницу между законом и нарушением закона, потому что работа его была борьбой, а в борьбе важен итог. Работа требовала от Шитова инициативы, и он проявлял ее ровно настолько, на-

сколько нужно, чтобы сохранить голову. И самое главное: его отдел всегда был ему домом, его сотрудники — союзниками. В доме он был хозяин, среди сотрудников — господин. Теперь же все — шиворот-навыворот, все переместилось, новый характер опасности требовал молодости и наглости больше обычного. А Шитову было под пятьдесят и дальше майора ему все равно было не подняться...

Медленно спускался он по лестнице уже опустевшего отдела. Не ответил на приветствие только что сменившегося дежурного, не кивнул, как обычно, шоферу, не попрощался с ним и не закрыл дверцу машины...

Ирина встретила его молча. Сразу же стала накрывать на стол и только один раз, внимательно взглянув на мужа, достала из буфета початую бутылку коньяка, рюмку, поставила их рядом с тарелкой и молча встала около стола, ожидая, когда Шитов умоется и переоденется.

Бутылку он заметил сразу, и сразу же легче стало. Дело не в коньяке, дело в Ирине, в его чудесной жене, которая понимает его без слов. Жена — его единственный верный союзник! Он подошел к ней, мягко взял за плечи, потом в ладони лицо, губами прошелся по стрельчатым бровям, по морщинкам, крепко-крепко прижал к себе.

— Теплая ты у меня, Ирка! Замерз бы я без тебя, начисто замерз! Не люди кругом, а льдины колотые. Уедем мы скоро с тобой отсюда. Еще немного и уедем. В Россею-матушку. Опротивели мне твои хохлы! Речи русской хочу! Надоели ваши «тильки-скильки»! Душу воротит! И ты по-русски выучишься, да?

Она кивнула.

— Это хорошо, что ты мало говоришь! У всех языки, как боталы, а о чем мелют, чёрт знает! Купим в

России дом, огород будет, сад! Работать будем! Я ведь еще сильный! Чего лыбишься? Не веришь?

Шитов нагнулся, подхватил ее на руки, крутнулся по комнате. И она, обхватив его шею, прижалась к шершавой щеке. Он почувствовал ее слезы где-то у подбородка и понял их, потому что не баловал ее лаской... Наконец, он опустил ее на пол, а она прижалась ухом к его груди, где позорно трепыхалось стареющее сердце, и засмеялась, слизывая слезы с губ. А ведь смеялась она так же редко, как редко ласкал ее муж...

— Ничего! Ничего! Сердце — дело поправимое! Лопату в руки — и норма! Я землю знаю! С нее жизнь начинал! Знаешь, какие мозоли были? Бритвой режь! Да вот кровь людская быстро стирает их. Эх, сколько крови-то я пролил, Ирка! Время такое... Под старость буду эту кровь мозолями оттирать... Клин клином!

Хотел Шитов сказать еще: «Сына бы нам!» — но не сказал, вспомнил, как деревенеет лицо Ирины при этих словах. Пожалел ее. Подошел к буфету, вынул еще две рюмки и поставил их на стол. Потом подставил еще два стула к столу.

— Лейтенант придет.

Покраснела Ирина, — никогда он не сажал ее за стол, когда приходил кто-нибудь из его сотрудников. Сегодня был для нее особенный день...

Дмитрий пришел озабоченный, Шитов заметил это и уже через несколько минут бесцеремонно отослал Ирину.

Дмитрий подробно отвечал на вопросы, рассказывал сам, но чего-то не договаривал, или сомневался в чем-то...

. . . .

Операцию Калиниченко организовал блестяще. Из района выехал не напрямую, а заехал в две деревни, что восточнее, и пополнил свой отряд десятком луч-

ших людей из истребительных батальонов этих деревень. К дому Гнатюка подлетел вихрем. Мгновенно отрезал дом от огородов, кукурузного поля, соседних домов. Мышь не проскользнула бы сквозь его железные клещи. Один вошел во двор и дал очередь из автомата по печной трубе. Дмитрий оценил правильно. Это не было бравадой и лихачеством. Перепуганные Гнатюк, его жена, сын-мальчишка лет шестнадцати — буквально вывалились во двор. Калиниченко схватил старика за ворот, тряхнул так, что у того подкосились ноги, швырнул его на землю и спросил, как выстрелил:

— Где?

Ну, а дальше началась комедия, которая понятна была одному Дмитрию. И если он не мог не восхищаться актерством Гнатюка, то все же ему было не по себе от того, что с Калиниченко, храбрым, опытным офицером, поступили как с мальчишкой, тем более, что ему не совсем был ясен смысл шитовского плана. А положение, в которое попал начальник ОББ, было архидурацким. Он нагнал два взвода бойцов, переворошил весь дом и двор, перепугал не только Гнатюков, но и всю деревню, и не нашел даже следов бандитов. Самолично облазил он все пристройки: клуню, погреб, чердак, обстукал каждый метр пола, истыкал щупом весь сад, весь огород, все перетоптал там — и впустую.

Серым стал Калиниченко от злости и стыда. Когда уже все поняли, что дело не выгорело, он метался по двору, налетал то на старика, то на старуху, то на парнишку (тот держался нагло, злорадства не скрывал), а под конец сделал уже совершенную глупость: застрелил собаку, красивого, лохматого пса с коричневыми подглазниками. Вот тут-то и взбунтовался старый Гнатюк. Страха на лице как не бывало. Размахивая руками, он подскочил к Калиниченко и начал кричать ему в лицо, что будет жаловаться, что капитан

ответит за беззаконие, что советская власть не позволит обижать честных людей... Калиниченко дал старику выговориться, не спуская с него глаз, а когда он закашлялся от крика, приказал арестовать его. Потом, уединившись в сельсовете, два часа допрашивал по какой-то ему понятной системе жителей деревни. В итоге забрал еще какого-то парня, и отряд двинулся в район.

...Шитов насторожился. Калиниченко не сказал ему, что арестовал Гнатюка. Парень-то, конечно, тот, у которого Дмитрий спрашивал про дом Гнатюка. Шитов не мог простить себе, что не дал Дмитрию точного адреса, и получилось, что Дмитрий, въехав в деревню, не смог определить, с какого края считать ему четвертый дом. Ошибка на уровне новичка.

— Гнатюк узнал тебя, как думаешь?

— Узнал, пожалуй, — подумав, ответил Дмитрий. — Был один взгляд.

— Плохо.

Шитов швырнул окурок в пепельницу, но промахнулся.

— Дрянь дело!

— Почему? — спросил Дмитрий.

— Калиниченко может расколоть старика.

Дмитрий, наконец, решился спросить:

— Илья Захарович, а что вы не хотите включить его в операцию? Мужик он дельный, правда, мне кажется, что грубостью он вредит отчасти, но вы бы видели, как Гнатюки разыгрывали из себя невинных! Я и не знаю, как с ними можно иначе, может быть не в свое дело суюсь, но...

Шитов перебил его.

— С ними можно и нужно иначе... Про Калиниченко ничего сказать не могу. План операции разрабатывался не только мной.

Будь Дмитрий поопытней, он бы, конечно, уловил фальшь в словах Шитова. Да и последний вариант с облавой возник неожиданно и исходил явно от Шитова. Но у Дмитрия сохранилась еще закваска фронтовых условий. Он привык выполнять приказы и не привык обсуждать их.

А Шитов уже давал указания.

— Как только Гнатюк вернется, начнешь вход в банду. Может это будет уже завтра. Я постараюсь помешать Калиниченко колоть старика, во всяком случае, больше трех дней я ему не дам. А еще, может быть, ты организуешь ему побег, впрочем, будет видно. С завтрашнего утра будь готов. А для этой лисы Гнатюка я приготовлю местечко в Сибири!

Потом они выпивали. Шитов заставил Дмитрия рассказать о некоторых его похождениях в разведроте, за которые у него были награды. Были уже оба под хмельком, когда во втором часу, как петушок царя Додона, затрепыхался телефон...

Калиниченко не извинился за позднее время и выщелкал всего одну, но почти ультимативную фразу:

— Совершенно неотложное дело. Через десять минут буду у вас.

И тут же трубка по-цыплячьи пискнула в ухо Шитову.

— С ним не соскучишься! — мрачно проговорил Шитов. — Расколол-таки Гнатюка. Представляю, как он его обработал!

— Вы думаете, он его бил?! — как-то испуганно и в то же время недоумевая спросил Дмитрий.

Шитов посмотрел на него, как смотрят на детей, спрашивающих про ребенка и капусту, и махнул рукой.

— А ну давай в ту комнату, да сиди тихо. Недооценил я этого хлюста! Ирина!

Ирина появилась мгновенно, точно все это время только и ждала, когда ее позовут.

— Все со стола! Быстро! Да шевелись же ты!

Дмитрию:

— Иди! Иди! И чтоб ни звука!

Сам схватил пепельницу, опростал ее, растащил стулья, внимательно осмотрел комнату, коврик у двери; потянул носом воздух, поморщился, подошел к буфету, открыл флакон одеколона и, прикрывая отверстие пальцем, несколько раз махнул вдоль комнаты. И наконец, подставив стул к радиоприемнику, сел рядом и начал гонять регулятором по шкале волн. Но вдруг вскочил, подбежал к буфету и из самого нижнего отделения, откуда-то изнутри вытащил маленький браунинг и зачем-то сунул его в карман брюк.

Дверь открывала Ирина. Калиниченко быстро вошел в комнату и без всякого вступления, как всегда сухо, но не без торжества или самодовольства:

— Лейтенант Сницаренко — бандеровский агент. И думаю, крупного масштаба. Гнатюк узнал его. Через полчаса я найду лошадь, на которой он ездил в деревню.

— Значит Гнатюк признался, что опознал в ночном госте нашего работника?

— Да.

— Признался сам или вы убедили его признаться?

Это был пустой ход. Шитов понимал. Но нужно было время, чтобы принять решение.

Вся физиономия Калиниченко засверкала наглостью, вызовом и уверенностью в себе.

— Я не убеждал его, Илья Захарович. Это дело следователя, а не мое. Я просто спустил его с лестницы. Мне не нужны его показания, повторяю, это дело следователя. Мне нужно было имя. Я его получил. Завтра утром Гнатюк может отказаться от своих слов, но завтра у меня в руках будут неопровержимые доказательства. А сейчас я настаиваю на аресте Сницаренко и, не желая устраивать дебаты, ставлю вас в

известность, что в случае вашего отказа буду сразу же звонить в область.

Это хорошо, что он говорил так долго. Шитов принял решение.

— Звонить в область буду я. Вам же приказываю задержать, подчеркиваю, задержать лейтенанта Сницаренко, но так, чтобы волос не упал с его головы! Сумеете?

— Сумею.

В этом выскочке все-таки было что-то человеческое. Потому что Шитов явно увидел после своего приказа на лице начальника ОББ просто радость понятого человека. Увидел и впервые подумал, что не нужно было ему затевать всю эту историю, что, может быть, и сработались бы... И даже мелькнула мысль, что, если бы они сработались, со временем, возможно, Калиниченко замолвил бы и за него словечко там, наверху, где у него несомненно есть рука. Шитов был убежден в последнем, потому что знал: наглые в этом мире только сильные. Конечно, он знал, что бывают еще и так называемые «идейные», но «идейные» не выживают, когда спотыкаются. Калиниченко выжил. Значит, у него есть козыри.

Ну, да что теперь думать об этом! Теперь поздно и надо продолжать игру. Выигрыш окупит все.

Калиниченко ушел. Из смежной комнаты появился растерянный Дмитрий.

— Что будем делать, Илья Захарович? Я что-то ничего не понимаю!

Шитов нервно курил.

— И понимать нечего!

Он подошел к столу, некоторое время рылся там, достал и развернул на столе карту, потом достал оттуда же компас, проверил его, положил на стол.

— Сейчас ты выйдешь из моего дома и пойдешь по этой улице. Держись забора. Улицей попадешь в парк. За парком лес, за лесом кладбище. Пойдешь

по компасу на юг километров шесть напрямую. Подойдешь как раз к тому краю деревни, где дом Гнатюка. Утром ты должен быть в бункере!

— Но, Илья Захарович! Гнатюка же ведь нет!

— Нет. Но есть его сын, есть жена. Или ты думаешь, они меньше знают, чем старик! Дави на обоих. Нагони страха за старика. Любыми путями — к утру в бункер! Утром Калиниченко может нагрянуть в село. В худшем случае, только в худшем, сразу не сдавайся... Пару выстрелов в воздух...

Видимо Шитов пожалел о последней фразе, потому добавил:

— Ну в общем, я этот вариант исключаю. Ты должен быть в бункере. На подходе компас выбрось.

Шитов сунулся было в карман, но замял это движение, для видимости вышел в соседнюю комнату, постоял там минуту и вышел к Дмитрию с браунингом в руке.

— Возьми.

— Зачем? У меня есть.

— Возьми! Он приносит удачу. Счастливый. Проверено. А теперь сядь перед дорогой.

Увидев, что в комнату вошла Ирина и стоит, рявкнул: «Сядь!».

Ушел Дмитрий Сницаренко от Шитова так же, как и пришел — через запасной выход...

IV

Когда подъезжаешь к незнакомому городу, всегда испытываешь радость, даже если в этот город гонит тебя беда. Незнакомый город заманчив как таинственный лабиринт. Каждый город — немного загадка, потому что это не просто количество домов и людей, но непременно кусочек истории, непременно какие-то имена, ну, а потом, у каждого города есть свое лицо, свой смысл, и смысл этот открывается постепенно,

когда покидаешь вокзал, который, как правило в стороне, и идешь наугад, наощупь и чувствуешь учащение пульса жизни города и руководимый одним этим чутьем, не обращаясь ни к прохожим, ни к указателям, подходишь, наконец, к главным артериям. А потом поворот, еще поворот — и ты лицом к лицу с сердцем этого огромного, распластавшегося на сто сторон существа, именуемого городом. Теперь, чтобы отгадать загадку, уловить смысл, нужно идти очень медленно, смотреть внимательно, читать каждую вывеску, каждый указатель, каждую афишу, да как можно чаще смотреть в лица прохожим, и не только в лица — моды сезона тоже не последний фактор.

Бывает, что и дня достаточно, чтобы стать своим в чужом городе, а иногда проходят годы, а он тебе чужой, и ты не к месту...

В каждом городе много нового, а потому встреча с ним — всегда радость, если даже не ждет там тебя ничего хорошего.

Ну, а когда с нового города начинается жизнь; когда ты твердо уверен, что самое необыкновенное должно произойти с тобой именно в этом городе, и если к тому же в сердце еще ни одной утраты, ни одной разлуки, ни одного разочарования, а лишь восторженная расположенность ко всему миру, ко всему в мире, то разве ты сможешь скрыть от посторонних волнение и радость, делая первые шаги по первым привокзальным улицам незнакомого города!

А Таня ничего и не скрывала. С откровенным любопытством рассматривала она прохожих, бесцеремонно задирала голову под вывесками и мемориальными досками и улыбалась каждому, кто обращал на нее внимание. Не было объяснения незнакомому, но радостному чувству тепла, что проникало в сердце, а шло от города, совсем чужого, совсем непонятного...

Таня остановилась на небольшой площади у здания с башенкой и часами. Статуи римских богов замыкали площадь у крыльев здания. Первый же прохожий сказал ей, что это бывшая городская ратуша. И хотя движение в этом месте было меньше, чем на других улицах, да и людей было меньше, Таня все же безошибочно почувствовала, что пришла к сердцу города.

Здесь, на этих улицах, в этих домах ей предстояло жить. Лечить людей, что проходят мимо, спешить на помощь в эти подъезды, пролеты, проходные дворы. Она была уверена, что город примет ее, потому что она уже полюбила его, необыкновенный город на холмах и под холмами. Она знала, что все будет хорошо, да все и так уже было хорошо. Плохо, что она одна и не с кем поделиться радостью, некого просто так обнять и расцеловать и увидеть свою радость в улыбке и глазах другого...

Вверх по проулку от ратуши она пересекла трамвайную линию и зашла в небольшой сквер отдохнуть и перекусить. Но скамеек в сквере было мало, свободных же вовсе не было. Наконец, она пристроилась на краю одной скамейки, открыла сумочку, занялась завтраком, что состоял из двух домашних пирожков. Один, подумав, она положила назад.

Напротив нее на освободившийся край скамейки как-то сразбегу не то что сел, а будто упал высокий молодой мужчина в офицерских сапогах, в желтой кожаной куртке с косыми карманами. Он сел, и локти уперлись в колени, а ладони закрыли лицо, словно он собирался не просто заплакать, а навзрыд, по-бабьи, зареветь. Но — глупости! Реветь он, конечно, не собирался, а просто замер в этой позе, темнорусый чуб его сполз на руки и прикрыл их тонкие длинные пальцы. Поза могла означать только одно — беду. Это, видимо, заметили и соседи по скамейке. Они покосились на него и почему-то чуть-чуть отодвинулись, может быть из предубеждения, что беда заразна, может

быть по другой причине. Во всяком случае, сочувствия на их лицах не было, и Тане стало немного досадно за людей. Прошло несколько минут, а мужчина по-прежнему сидел в той же позе, не пошевелившись. Таня пыталась представить, что могло произойти, что могло случиться у этого человека такого, что заставило его забыть обо всем вокруг и так вот захлестнуть ладонями лицо.

Но что гадать? Таня встала и направилась к выходу из сквера. У самых ворот она остановилась и неожиданно для себя самой, замирая от собственной смелости, подошла к мужчине на скамейке.

— Извините, пожалуйста.

Она сказала это, пожалуй, громче, чем следовало. женщины на скамейке недружелюбно, подозрительно как-то взглянули на нее. Она ответила им вызывающим взглядом и повторила:

— Извините, пожалуйста...

Мужчина поднял голову и некоторое время отсутствующе смотрел на нее. Он оказался совсем молодым и очень красивым, и Таня смутилась и растерялась.

Вот в его светлых глазах исчезла отрешенность, так поразившая Таню, сменилась сначала удивлением, потом вежливым вниманием.

— Вы не скажете, как пройти вон на ту гору?

Таня указала рукой на лесистый холм, что возвышался над городом в самом его конце и просматривался сквозь арку сквера.

— Высокий замок?

— Как? — переспросила Таня.

— Этот холм называется Высоким Замком.

Ему неудобно было сидеть перед ней, он встал и оказался чуть ли не на голову выше нее.

— Можно проехать трамваем до переезда, — не очень уверенно начал он. Но вдруг прямо и пристально посмотрел на Таню, так, что она захотела провалиться сквозь землю.

— Спасибо, — бросила она тихо и почти побежала, чувствуя на себе взгляды сидящих на скамейках. Выйдя из сквера, она свернула в первый же переулок и там остановилась, прислонившись к стене дома. «Ну и дура, ну и дура же я! — повторяла она, трогая ладонями горячие щеки. — Ну, хватит романтики! Иду на вокзал, беру вещи. Надо устраиваться. Хватит приключений!»

Но приключения только начинались.

— Пойдем. Мне тоже нужно на Высокий Замок.

Он стоял перед ней. А фраза была сказана таким исключающим отказ тоном, каким говорят только сильные и бесхитростные мужчины. Такой тон исключает даже мысль о корысти или подвохе.

Когда они через весь город подошли к железнодорожному переезду, от которого начинался подъем на Высокий Замок, она уже выложила ему и о своих родителях, и о жизни в эвакуации в Сибири, и о медицинском училище, которое окончила, и Бог знает, о чем еще она успела наболтать ему, в то время как он не сказал ей о себе ничего, кроме имени. Его звали Василь. Когда поднимались на холм, она замолчала. И испугалась его молчания. Но, взглянув будто случайно ему в лицо, успокоилась и только ругала себя за болтливость.

Дух захватило — какая красота открылась ей с вершины холма. Хотя она и приказала себе молчать, пока он не заговорит, но не удержалась и выдохнула что-то вроде: «Ой, как здорово!» Но осеклась, оглянувшись на своего спутника. Настороженным, враждебным взглядом, сдвинув брови, смотрел он вниз на море зелени, в котором, как корабли в гавани, замерли на якорях разнофасонные крыши и башенки церквей.

— Разве не красиво? — попыталась Таня выяснить причину этого холодного, как штык, взгляда.

Он не изменил ни позы, ни взгляда, и ответил, будто продолжал думать, только теперь вслух.

— Красиво? Может быть кому-то этот город просто красивый. А для меня это — город врага, который в нем под каждой крышей... Воля моя, так я бы эту красоту трактором пропахал по квадратам, чтоб дышать легче, чтоб не ждать выстрела из-под каждой яблони, из-за каждого забора. Киев в развалинах, Сталинград в развалинах, а этот — как мещанин, отсидевшийся в подвале!

Он замолчал. Тане его слова были непонятны, но спрашивать она не решилась. Когда ей вручали направление, то кое-что говорили о сложной обстановке, о националистических бандах, с которыми ведется успешная борьба. Но еще не остыла радость победы, и какие-то банды после такого врага всерьез не принимались. И сейчас она не могла представить и не хотела верить, что есть люди, которым ее радость — не радость.

Она не спросила. Он заговорил сам. Он говорил о фашистских прислужниках и недобитых кулаках, о наемных убийцах и о продажных агентах, о мужественных чекистах и о трусливом населении, лишь из-под палки помогающем правому делу. Он говорил о недомыслии кое-кого в руководстве, мешающем таким, как он, безжалостно выкорчёвывать врага. Говорил о необходимости красного террора и партийной чистке.

Говорил с такой болью в голосе, с такой искренностью и убежденностью, что Таня, еще не понимая сути, уже сочувствовала ему, уже разделяла его боль и досаду...

В человеке нас чаще всего располагает к себе цельность натуры, одержимость и искренность. В этих качествах — сама по себе существующая ценность. Мы воспринимаем ее как нечто эстетически бесспорное. Покоряемся воле и силе этих качеств.

Священный идеализм духа! Разве не он породил в мире и самое святое добро и самое чудовищное зло! Но кто не склонялся перед ним, кто не трепетал и не загорался! Разве только ленивцы да неудачники?

Но лишь мудрость ошибок и падений, утрат и расплат — только эта мудрость способна увидеть в идеализме суть идеала, которым он порожден. Только эта мудрость, только она имеет право и находит в себе мужество освящать или проклинать такую вот пылающую одержимость глаз, такую беспощадную категоричность слов, такую непоправимую безапелляционность действия! Только мудрость!

Все же остальные либо отшатываются в робости и испуге, либо восторженно склоняются, чтобы подчинить себя, чтобы стать частью, чтобы получить часть чужой цельности и одержимости.

Сталкиваясь с такой волей и покорившись ей, мужчина хочет умереть, защищая ее, женщина — жить, служа ей!

. . . .

Так случилось. Через две недели, выходя из городского загса, Таня прижималась к плечу Василия Калиниченко, как жмется молодая сосна к скале перед пропастью, отдавая всю силу и цепкость своих корней пригревшим ее уступам. Они шли по улицам города, которому так и не суждено было стать ее городом.

Капитана безопасности Василия Калиниченко за самовольные действия и нарушение законности переводили в один из отдаленных районов области начальником отдела по борьбе с бандитизмом. Ему предстояло искупить вину, которой он не чувствовал, которой вообще не было в его понимании вины. И когда шли, прощаясь с городом, он говорил ей, что еще вернется сюда, что еще рассчитается и с городом, и с теми, кто, потакая врагам, посягает на принципы революционной борьбы. Он был уверен, что рано или поздно его взгляд на вещи будет признан единственно верным.

Это случится, когда демагоги и оппортунисты, потерпев крах в своих методах, поймут, что революция не делается в белых перчатках, что меч железного Феликса не экспонат музея, а оружие, выкованное в горниле классовых битв.

Еще он говорил ей о великом интернациональном братстве, которое скоро должно прийти на смену национальным различиям, только порождающим вражду и ненависть.

Таня слушала его внимательно, но не столько, что он говорил, сколько — как говорил. А говорил он языком героев книг, на которых она выросла, но которые все же были лишь книжными. В жизни же все казалось обыденнее и скучнее. И вот ей повезло! Она встретила человека, который воплощение этого духа книжных героев, — бесстрашного и непоколебимого человека... К тому же у него русые волосы, голубые глаза, он высок и строен, он строг и умен и он любит ее. Она понимала, что, если он и полюбил ее, то только за внешность. Он, конечно, думает о ней лучше, чем она есть на самом деле. Но она схитрит. Она не скажет ему, какая она есть, она тихонько станет такой, какой он хотел бы ее видеть. И когда она такой станет, пусть он думает, что она всегда была такой, что он не ошибся.

А сейчас она лишь глупая девчонка. И потому, что бы он ни говорил, она не может не любить этот город, который подарил ей счастье. Потом, позже, она обо всем подумает серьезно и всё поймет, не дура же она! Но сегодня вечером, перед тем, как сесть в поезд, она тихонько скажет: «Спасибо тебе, зеленый город!» И ему не нужно об этом знать...

Они остановились на маленькой площади напротив церкви. Они должны были расстаться до вечера. Ей нужно в гостиницу за чемоданом, ему — закончить какие-то формальности в управлении. Но в момент, когда она уже решилась оторваться от него, распахну-

лись двери церкви, и под шум голосов вышли новобрачные. Невеста была в длинном белом платье и на груди ее красовался белый бант, лентой свисая чуть не до пояса. На голове — маленькая резная корона и от нее назад, до самой земли — белая фата. Жених в элегантном черном костюме, из-под которого выглядывала расшитая украинским крестиком белая косоворотка, и на груди у него — тоже белый бант, только лента длиннее, чем у невесты. Невеста была такая же черноглазая, как Таня, а жених такой же белокурый и светлоглазый, как Василь, только чуть ниже ростом.

Они сошли со ступенек церкви. За ними появилась целая толпа, наверное, друзей. Потом на ступеньках показались две пожилые пары. Родители. И новобрачные и все остальные были веселые и счастливые. Они галдели, сыпали шутками, обнимались. Они шли прямо на Таню и Василя, и у Тани вдруг сердце сжало так, что слезы выступили на глазах. Они с Василем были такие одинокие, ненужные в этом городе — никому, ни одному человеку не было до них дела, и даже никто не знает, что они час назад стали мужем и женой! Василь был красив и строен в своей полувоенной форме, но сейчас ей до отчаяния захотелось увидеть его в черном костюме с белым бантом. А как бы подошла к его мужественной шее украинская косоворотка! А какой была бы она под белой фатой, в туфлях на каблуке!

Процессия приближалась. Их разделяли два-три метра. Они стояли на пути новобрачных, им нужно было отойти в сторону. Василь было уже сделал движение, но Таня вдруг почувствовала, что если они сейчас отойдут, если, не заметив их, пройдут мимо эти люди, пьяные от счастья и любви, — ей будет так больно, что она разревется у всех на глазах. И она, оставив Василя, бросилась к невесте, обняла ее и расцеловала в обе щеки. Тотчас же и она и Василь оказались в гуще этой нарядной толпы, кто-то ее обни-

мал, кто-то даже целовал. Краем глаза она увидела, как жених обнимал Василя. Их пытались утащить за собой к пролеткам, что стояли за углом, но они с трудом выскользнули из толпы в ближайшем переулке и вернулись на площадь. Таня снова прильнула к мужу. Но когда взглянула ему в лицо, улыбка ее умерла. Оно было каменно непроницаемым, почти чужим, почти таким, каким бывало, когда он говорил о врагах. Она уже знала эту маску, этот невидящий взгляд и окаменевшие скулы. Она уже знала и не раз за две недели их знакомства со страхом думала, что когда-нибудь эта маска будет надета от нее! И, конечно, виновата она. У нее задрожали губы...

— Ты поступила глупо!

Таким голосом на вокзалах объявляют прибытие поездов. Таким голосом, наверное, выносят приговоры.

Знать уж больно жалко она выглядела, потому что взгляд его немного оттаял, и она почувствовала руки на своих плечах. Потом где-то на самых краешках губ мелькнула улыбка. Мелькнула и пропала.

— Мы поговорим об этом в поезде.

Поцеловал он ее хоть и не совсем так, как бы ей хотелось, но уж не так и холодно.

Районный городишко, куда они прибыли, оказался зеленым, уютным и тихим. Им дали настоящую квартиру, где даже был черный ход.

Василь был не требователен к уюту, но любил порядок. Тане жилось легко, потому что она была влюблена в мужа до преклонения. Конечно, она хотела бы, чтобы он больше бывал дома, поласковее был бы и разговорчивее, чтобы к ним приходили гости, чтобы он был внимательнее к ее обедам, платьям и прическам. Но все это было второстепенное. Главное, она хотела бы, чтобы ей никогда не приходилось бояться

потерять его, или хотя бы не были так длинны ночи, когда приходилось ждать его...

Уже на десятый или двенадцатый день она, глотая слезы, перевязывала ему раненую ногу.

Пришло время, и она взбунтовалась. К ее удивлению и радости, Василь согласился, и она уже через месяц свободно сидела в седле и прилично стреляла из тяжелого нагана.

В ночь перед первой боевой операцией, на которую муж согласился взять ее, к ним в гости пришел начальник отдела Шитов. К этому времени Таня уже почувствовала, что взаимоотношения Василя со своим новым начальником сложились неважно. Шитов оказался рыхлым среднего роста мужчиной с мешками у глаз, со всеми признаками алкоголика. Он неестественно долго тряс ей руку, а руки его были потными... Выпивая, он крякал, чмокал губами. Говорил пошлости и изображал из себя доброго начальника. Зато Василь держался с достоинством. Таня любовалась и гордилась мужем, потому что видела явное преимущество его над Шитовым. Нет, не таким должен быть чекист! Куда ему до Василя! И в седле-то он, наверное, как мешок. Но Таня была любезна, и муж остался доволен ею.

А утром она скакала бок о бок с лихим капитаном, своим мужем, во главе отряда. На поясе у нее висел самый настоящий наган. Это был сон или кадр из фильма, а она была одновременно и героиня, и актриса, и самый счастливый человек в мире.

Но кончился этот день плохо.

Все произошло очень быстро, без ее участия, и она даже не успела ничего понять... Хлопнуло несколько выстрелов, кто-то что-то крикнул, кто-то выматерился, и на земле лежали связанные двое молодых здоровых парней. Они не молили о пощаде, не каялись и не плакали, только зло и презрительно сплевывали

в сторону солдат и даже в ее сторону. Один из них был широкоплечий, горбоносый с прямыми черными бровями и шрамом на подбородке, другой — стриженный наголо, широколицый, губастый, с татуировкой на руках.

Все бойцы были почему-то очень довольны, разговаривали громко и как-то слишком громко смеялись, хлопали друг друга по плечам, похлопывали по шеям коней, зачем-то щелкали затворами, чего-то суетились... Таня чувствовала себя отвратительно. Словно кто-то обманул ее, словно сказал ей что-то гадкое и стыдное. И она никак не могла понять, зачем она здесь и что ей нужно делать. Наконец, она услышала голос мужа, выходившего из избы. И ей стало страшно, что он, быть может, тоже доволен, и она боялась взглянуть на него, но когда взглянула, немного пришла в себя и успокоилась. Василь был серьезен, спокоен, без капли самодовольства или позы.

Возвращались тихим шагом, потому что со всех сторон окруженные всадниками, на подводе ехали пленные.

Это случилось в балке, где отряд остановился напоить лошадей. Все спешились, кроме Тани и трех солдат. Строй и порядок нарушились, кони сбились в кучу, люди тоже. И тут стриженный вдруг соскочил с подводы и, петляя, бросился бежать вдоль балки. Руки у него оказались свободными. Но, хотя на некоторое время возникло замешательство, попытка была обречена. Он не пробежал и полста метров, как раздалось враз несколько выстрелов и автоматная очередь. Парень обеими руками ткнулся в глину, несколько раз перевернулся по инерции и затих. Таня первая подскакала к нему, бросила лошадь и буквально упала перед ним на колени. Помертвевшая от ужаса, она осторожно повернула его на спину, ткнулась ухом в его грудь и не услышала дыхания, а лишь почувствовала

на щеке что-то мокрое и, когда коснулась рукой, увидела кровь. Лоб и подбородок парня были в глине. Но приоткрытые остекленелые глаза и чуть искривившиеся мальчишеские губы придавали его лицу выражение хмельного блаженства, какое бывает у заснувших спьяну. Не в силах оторвать взгляда от его мутных молочных зрачков, Таня вдруг заревела во весь голос, навзрыд, как никогда не плакала в своей жизни. Это был даже не плач, а почти истерика и, может быть, она и сознание потеряла бы от ужаса, если бы вдруг над ее головой как металл по металлу не раздался голос мужа:

— Немедленно прекрати! Марш в седло!

Она с трудом поднялась, и взгляд ее упал на автомат на груди мужа. Ей даже показалось, что ствол его дымится... но это лишь слезы застилали ей глаза...

— Марш в седло!

Будто плеткой хлестнули слова, будто кипятком ошпарил взгляд. Кое-как забралась она в седло, и когда подъезжала к отряду, не столкнулась взглядом ни с кем, кроме того, кто связанным сидел на подводе. Но что было в его взгляде, она уже не способна была понять.

Дома она выплакалась. Потом успокоилась и попросила прощения. Он простил ее. И лишь когда легли спать, она, припав к его щеке, тихо спросила:

— Почему ты такой холодный, Василь?

V

18 лет спустя

Эта поездка против всех предчувствий оказалась очень удачной. Ему удалось выхлопотать через управление «Сельхозтехника» запчасти для комбайнов и резину своим шоферам. Учитывая острый дефицит, это была неслыханная удача, которая со временем обой-

дется ему лишь в бутылку коньяка. Ну, а совещание было такое же, как и все предыдущие и все будущие — как всегда, никому не нужное, кроме областного начальства, да и то, чтобы лишь поставить «птичку». Перемалывалась какая-то белиберда о так называемых планово-убыточных хозяйствах, была непременная в этих случаях лекция о международном положении, кто-то скучно делился опытом, начальство в плановом порядке разгромило в пух и прах одного из директоров в назидание другим. В общем, за эти шесть часов Дмитрий Петрович успел прочитать специально приобретенный в киоске сборник рассказов про инспектора Мегрé и умудрился выйти с совещания не только не уставший, а даже, напротив, с легкой головой человека, прилично отдохнувшего.

Володя должен был подогнать машину к зданию совнархоза в шесть часов. У него было в запасе целых пять часов. На этот раз Дмитрий Петрович не взял никаких поручений в город от жены, и эти пять часов принадлежали ему. Он купил газету, просмотрел программу кинозалов, выбрал и пошел к троллейбусной остановке. Народу было мало, и троллейбус появился скоро. Он вошел, но не сел, а остался на входной площадке, спасаясь от рывков и поворотов за металлическую решетку заднего стекла, намереваясь согрешить и выскочить через эту же входную дверь.

На третьей остановке в троллейбус вошла пожилая женщина и уже прошла было мимо Дмитрия Петровича, но вдруг остановилась, резко повернулась к нему, и глаза ее расширились от неожиданности и, наверное, от страха, потому что лицо ее перекосило, а руки схватились за сердце. Сницаренко удивленно уставился на нее. Но только он подумал спросить, что с ней, как вдруг она схватила за рукав стоящего рядом и боком мужчину и когда тот повернулся, она, показывая рукой на Дмитрия Петровича, прошептала:

— Убийца!

Мужчина недоуменно посмотрел на Сницаренко, потом на нее, потом снова на Сницаренко. «Сумасшедшая, что ли?» — подумал Дмитрий Петрович, но только он сделал шаг в ее сторону, как она теперь уже обеими руками схватилась за рукав тоже удивленного мужчины, хрипло закричала, прячась за его спину:

— Это убийца! Задержите его! Это убийца! Он убил моего мужа! Позовите милицию! Остановите... Это убийца!

Мужчина был не из храбрых, потому как-то забегал глазами, но крик привлек внимание людей в троллейбусе, и на площадке появилось еще несколько человек. Они с любопытством смотрели на Сницаренко и женщину, кажется, не принимая ситуацию всерьез.

А женщина, отступив вглубь, умоляюще обращалась ко всем им, не спуская полных ужаса глаз с Дмитрия Петровича.

— Ну что же вы стоите! Задержите его! Он убил моего мужа! Он — убийца! Я узнала его! Не давайте ему сойти! Ну что же вы!

Сницаренко, наконец, не выдержал.

— Послушайте, если вы в здравом уме, вы просто ошиблись. Я вижу вас впервые в жизни, да и вы меня тоже! Перестаньте кричать и посмотрите на меня внимательно!

Женщина замолчала, беспомощно оглядываясь по сторонам, но было видно, что она уверена в том, что говорит.

— Успокойтесь, — снова заговорил Сницаренко, — где и когда был убит ваш муж?

Но женщина не слушала его, по-прежнему молящим взглядом обращаясь ко всем, кто был рядом. Она не хотела слушать его, словно заранее уверенная в том, что он будет врать и выкручиваться.

— Может быть, вы хотите взглянуть на мои документы? — спросил Дмитрий Петрович.

Но нет, ей не нужны были его документы, ей ну-

жен был милиционер. Ее уверенность передалась окружающим, и в их глазах было уже не любопытство, а что-то напоминающее колючки от колючей проволоки. Нехорошая тишина вошла и повисла тяжелым облаком над Дмитрием Петровичем, и от этой тишины заломило в голове и заныла нога.

«Ну и попал в переделку! — подумал он. — Хорошо, что знакомых нет. А то бы стал героем анекдота!»

— Хорошо, — сказал он, стараясь улыбнуться как можно спокойнее, — хорошо, давайте на следующей остановке выйдем и без крика и шума зайдем в первое же отделение милиции. И прошу вас всех тоже пойти вместе с нами. Потому как, чего доброго, она на середине улицы начнет кричать и звать на помощь. А мне это, знаете ли, как-то ни к чему. Я прошу вас!

Он обратился еще раз ко всем, а их было уже человек десять и все — мужчины.

— Это не займет больше десяти-пятнадцати минут!

Его слова и тон немного разрядили напряжение, но не сняли его.

Толпой они вышли из троллейбуса, довольно долго шли по каким-то улицам и, наконец, оказались в отделении милиции. Пока шли, он не видел женщины. Она держалась сзади, точно боялась, что он набросится на нее. Кто знает, что может померещиться больному рассудку. Но как только они оказались в отделении милиции, она снова заметалась и скоро исчезла в одном из кабинетов, куда немного погодя пригласили и Сницаренко со всей свитой. Пожилой майор вежливо и неторопливо ознакомился с его документами, задал пару уточняющих вопросов, но, оставаясь беспристрастным, документов все же не вернул Дмитрию Петровичу, а положил их на стол перед собой. Он, видимо, готовился к длинному, обстоятельному допросу «потерпевшей», но Дмитрию Петровичу вся

эта комедия изрядно надоела, и он, жестом руки остановив майора, вынул записную книжку, отыскал нужную страницу и положил ее на стол.

— Позвоните, пожалуйста, в областное отделение госбезопасности вот по этому телефону и передайте мне трубку.

Майор взглянул на Сницаренко, затем некоторое время рассматривал страницу с номером, еще раз взглянул на Дмитрия Петровича и набрал номер. Получив ответ на вопрос «кто», передал трубку. Сницаренко старался говорить спокойно. Присутствующие ловили каждое его слово, пытаясь отгадать ответы на том конце провода.

— Саша? Это Дмитрий. Добрый день!.. Порядок... Не смог... Я же говорю, не смог... Послушай, ты очень занят? Тогда приезжай срочно.

Сницаренко оторвался от трубки.

— Не заметил номер вашего отделения. — Третье отделение. — ...в третье отделение милиции... Нет срочно... Давай.

Когда он положил трубку, майор достал пачку сигарет и протянул ему.

— Закурите? С фильтром.

— Не курю. Спасибо.

Дмитрий Петрович убрал в карман записную книжку. Наступила неловкая тишина. Наконец, майор решился внести хотя бы маленькую ясность.

— Гражданка Калиниченко, конечно, могла ошибиться. Ведь прошло столько лет...

Молния, прямая, ослепительная, острая ударила в висок Дмитрию Петровичу.

— Как ваша фамилия? — растерянно спросил он женщину.

— Калиниченко! — выбросила она ему в лицо, не скрывая торжества. — А мужа моего звали Василий Григорьевич Калиниченко.

Потом тихо и устало добавила, не глядя на него:

— Я узнала вас сразу.

— Когда был убит ваш муж? — спросил сразу насторожившийся майор.

Она ответила.

— «Да что же это? Сплю я, что ли? Этого не может быть! Бред!». Всё, что было в нем от разума и от веры, всё кричало в нем отчаянным воплем: «Ложь! Ложь!»

Он резко поднялся со стула, всем корпусом повернулся к женщине так, что она вздрогнула и вросла в стул, а майор поспешно приоткрыл столешницу.

— Зачем вы лжете! Мне не известна дальнейшая судьба вашего мужа, но т о г д а его никто не убивал! Зачем вы лжете? Отвечайте!

Недоумение было на лицах всех присутствующих. Происходило необычное. Либо чудовищная, трагическая ошибка, либо ... подлость людская безгранична! А что может быть еще третье! Человек либо виновен, либо не виновен. Разве жизнь способна создать что-либо внеэталонное? Поступки человека могут быть *предопределены* массой обстоятельств, поступки человека могут быть *оценены* лишь строго однозначно, ибо в противном случае кто отличит добро от зла?..

Она рассказывала. Но не ему. Говорила тихо. И было ясно, что она не заплачет, потому что слез у нее давно уже нет.

— Когда его принесли в дом, он уже умер... Все три пули в грудь...

— Пули... — пробормотал Сницаренко. — Пули...

Что ж, значит, действительно всё так и было! Боже! Он ведь чувствовал тогда, что произошло что-то грязное. Чувствовал, но не хотел знать, потому что знал себя чистым. Ведь несколько раз он хотел поинтересоваться судьбой Калиниченко, Шитова, но не сделал этого. Почему? Что останавливало его? Боялся?

Чего? Впрочем, что об этом? Он убийца! Убийца, потому что убил. Убийца, потому что верил, что в жизни достаточно быть добросовестным, что в жизни достаточно верить! И это снимает ответственность думать и отвечать за весь мир. Нет, он и сейчас уверен, что вера его была истинна. Но почему в комплекс его веры не входило собственное сердце? Оно же ему дано, это высшее мерило всего на свете? Но оно оказалось загнанным глубоко внутрь и атрофировано духовным безволием, всеподавляющей субординацией действий и поступков. Так было легче жить и легче умереть. Но не имут сраму мертвые. Калиниченко был мерзавец. Но Калиниченко умер. А он выжил, и ему теперь отвечать за всё и перед собой, и перед этой женщиной, которую он, по существу, тоже убил той кошмарной ночью, когда был подведен итог его веры в правоту исполнения.

Он виновен! Виновен! Чутье подсказывало ему, что совершается подлость, но он не захотел усложнять себе жизнь. И теперь он — убийца. Убийца по своим и человеческим законам. И ничто не спишется, ничто не оправдает... Он преданно, но бездумно служил идее, и смысл этой идеи был — будущее. Но не понимал тогда, что нет ни прошлого, ни будущего, есть лишь человек, в любую минуту единый и неотделимый и от своего прошлого и от своего будущего. Всегда и везде есть лишь один человек, и человек этот перед судом, который лишь удалился на совещание, но в любую минуту может появиться. И вытянется человек, и выслушает приговор. Приговор, который обжалованию не подлежит...

В комнату вошел полковник госбезопасности. Дружески поздоровался с Дмитрием Петровичем, деловито с майором, приветливо с остальными. Сницаренко уловил момент и кивнул полковнику на посторонних.

— Посторонних прошу выйти, — тотчас же отреа-

гировал полковник, еще не зная, кто здесь посторонний.

Когда остались вчетвером, Сницаренко снова выбрал минуту и кивнул на майора. И майор был деликатно выдворен из собственного кабинета, не проявив при этом никаких чувств, кроме готовности к подчинению.

— Саша, у этой женщины восемнадцать лет назад убили мужа. — Дмитрий Петрович повернулся к ней: — Повторите, кого вы считаете убийцей вашего мужа.

Она чуть заколебалась, но, взглянув в лицо Сницаренко, уверенно сказала:

— Вас.

У полковника подлетели брови. Он вопросительно, непонимающе уставился на Дмитрия Петровича.

— Вот, собственно, то дело, по которому я звонил, — ответил Сницаренко, отходя от стола в глубь комнаты.

Полковник по-своему понял Дмитрия Петровича и подсел к женщине.

— Как вас зовут?.. Так вот, Татьяна Алексеевна, я, разумеется, еще не в курсе, но в данном случае это даже не существенно. Не хочу думать, что вы оговариваете товарища Сницаренко. И заявляю вам совершенно твердо и категорично, что вы ошиблись.

Она хотела что-то сказать, но он не дал ей.

— Я выслушаю вас, но вот что хочу вам сказать предварительно. Дмитрий Сницаренко прошел со мной всю войну от сержанта до командира взвода. Я лично в свое время рекомендовал его в органы, где он проявил себя настоящим чекистом и коммунистом. За ликвидацию крупной бандеровской группы был награжден орденом. Причем был серьезно ранен во время боя. Уже шесть лет он работает директором совхоза в нашей области, и ни одного дурного слова никто не сказал о нем за все это время. А ваше предположение несостоятельно уже в силу того, что такие

люди, как Дмитрий Петрович, никогда не могут быть, ну, скажем, по природе своей, просто даже причастны к какому-либо грязному делу. На таких людях, Татьяна Алексеевна, стоит наша власть, ими она утверждалась, ими отстаивалась и укреплялась...

А сам Сницаренко стоял в стороне, слушая дифирамбы в свой адрес, и думал: «Командир ты мой, дорогой товарищ полковник! Знал бы ты, что говоришь! Да знаешь ли ты сам, где пролегает грань между чистым делом и грязным? Да и так ли чисто прошел ты сам от капитана разведроты до полковника госбезопасности? Не поджидает ли тебя на какой-нибудь трамвайной остановке постаревший кусок прошлого? Думаешь, поди, что все списалось, все очистилось и оправдалось! Но вот для одного из нас пришло время ответа. Для меня. А следующий, не ты ли? Мы оправдывались идеей. Чем оправдают нас? Хорошо тем, кто умер!»

Полковник выговорился. Сницаренко подошел к ним.

— Татьяна Алексеевна, в ближайшее время вы получите именно от меня подробное объяснение всему, случившемуся с вами и вашим мужем. Оставьте мне ваш адрес и возьмите мой. Поверьте, я никуда от вас не денусь. Но потерпите несколько дней, и все выяснится.

Когда уставшая и подавленная она вышла из комнаты, Сницаренко сказал:

— Саша, помоги мне найти одного человека... Шитова Илью Захаровича! Если он жив... Плохо, если умер... Тогда я...

IV

18 лет назад

Шитов запил с того дня, когда вернулся из области, куда вызывали его по доносу Калиниченко. Тот обвинил его в содействии националистам, в срыве операции по захвату банды, в пособничестве предателю Сницаренко. В области Шитова приняли холодно, хотя и знали о его намерении не посвящать начальника ОББ в курс дела.

— Зачем нужно было устраивать эту комедию? — спрашивали у него.

— Для большей достоверности, — отвечал Шитов.

Он, конечно, выкрутился. Но ему дали понять, что в случае неудачи он поплатится за всё. Если в ближайшее время бункер не будет найден, то те шесть человек, которых он увел из-под носа Калиниченко, обойдутся для него в лучшем случае преждевременной отставкой со всеми вытекающими отсюда последствиями. А не дай Бог, что-нибудь случится с Дмитрием!

Шитов запил. Уже шесть дней от Дмитрия не было вестей. И Шитов пил. С мольбой и страхом из дальнего угла комнаты следила за ним Ирина. Ее единственное оружие — ласка — оказалось бессильным против паники и отчаяния, охвативших Шитова. Он не подпускал ее к себе. Он не разговаривал с ней, он не замечал ее, а если и замечал, то раздражался до такой степени, что мог побить.

Он запустил работу, и Калиниченко постепенно прибрал к рукам отдел. Следователи и оперы перешептывались и шли за нужными советами в кабинет начальника ОББ, минуя Шитова. Шитову же всё было безразлично. Он понимал, что погиб, если операция провалится, но и был уверен, что в случае удачи он в один день всё поставит на свои места. Начальника

ОББ он видеть не мог. В области он, наконец, узнал причину его перевода, и хотя сам не был чистюлей, и душа была полна греха, тем не менее Калиниченко стал вызывать в нем чувство брезгливости.

Может быть, правда, это было не совсем так. Бывает, что найти человека, который хуже тебя, значит доставить себе радость, потому что на этого человека можно излить все накопившееся презрение к самому себе. Так или иначе, с Калиниченко он почти не встречался.

А тот, чувствуя агонию своего начальника, интенсивно внедрял в работу отдела свои методы, открыто игнорировал Шитова, позволяя себе небрежные замечания в его адрес в присутствии офицеров отдела.

Но методичный, рассудительный Калиниченко недооценил Шитова. Не учел он ту невероятную цепкость и хитроумие, что рождаются в русском характере в момент отчаяния. Нет тогда ему ни пределов, ни границ, через всё переступит, через всё пройдет, и горе вставшему ему на пути! Сколько великих, но чужих умов сломали себе голову только потому, что принимали агонию врага своего за несомненный признак гибели, но агония вдруг превращалась в невиданную, необъяснимую силу, остановить которую и обуздать уже не могло ничто. А добро рождала эта сила или зло — зависело лишь от тех условий, в которых она выявлялась...

Случилось худшее. Дмитрий, побывав в бункере, так и не узнал его расположения. Сначала всё шло хорошо. Как и советовал Шитов, Дмитрий, ночью заявившись к Гнатюкам, начал давить на жену и сына, требуя связи, угрожая и шантажируя. Наконец, мальчишка, пошептавшись со старухой-матерью, исчез из дому. Ждать пришлось часа полтора. Вернулся он один, но указал Дмитрию направление, в котором он должен идти от деревни и где его должны встретить.

Путь Дмитрия лежал по самой границе кукурузного и картофельного полей. Когда он прошел с полкилометра, вдруг неожиданно был схвачен сзади несколькими руками, обезоружен и ослеплен вонючей тряпкой. Напрасно пытался он определить направление, в котором его повели. Люди действовали умело. Так что, когда, наконец, остановились на окрик пароля, Дмитрий не был даже уверен, что его не привели назад в деревню. Потом был спуск на ощупь, потом его посадили на стул в освещенном помещении. Тряпка чуть просвечивала. Допрос начался при завязанных глазах. Голос был спокойный, но властный. Дмитрий изложил легенду, разработанную вместе с Шитовым, безукоризненно ответил на провокационные вопросы — в общем сделал всё, что от него требовалось, не допустив ни одной ошибки.

Затем, не развязывая глаз, его отвели, по-видимому, в отдельную комнату, в полной темноте сняли тряпку и толкнули на матрац. В комнате было еще несколько человек, которые почти не разговаривали между собой и словно не замечали присутствия Дмитрия, который, между прочим, уснул сразу, как только лег.

Неизвестно, сколько прошло времени, пока он спал, но кажется, немало, потому что давал себя знать голод, и голова болела, как с пересыпу. В темноте его покормили, снова завязали глаза, и снова начался допрос. По характеру вопросов Дмитрий понял, что в бункере известно, что в районе его ищут, но был ли Калиниченко в деревне, установить не удалось. Допрашивал тот же самый человек. Но допрос был труднее. На этот раз интересовались качеством и подлинностью его националистических убеждений. Предварительно ознакомленный с националистической литературой, Дмитрий отвечал на вопросы достаточно убедительно, но внутри не было на этот раз уверенности, что говорит правильно. Постановка вопросов оказа-

лась столь своеобразной, что брошюрными фразами отделаться было невозможно, приходилось выкручиваться, вживаться в тематику, сохраняя при этом нужный тон и стиль. Потом была снова темная комната и еще допрос и затем долгое, как сама бесконечность, ожидание, которое показалось ему месяцем, а было неделей. Лишь на десятый день ему снова завязали глаза и привели в то же помещение. На этот раз голос, говоривший с ним, был сухим, более резким.

Ему сообщалось, что он принимается в организацию украинских националистов и что ему поручается первое боевое и, понятно, проверочное задание. Был зачитан документ, в котором говорилось, что комитетом организации за такие-то и такие-то действия предатель украинского народа, офицер госбезопасности Василь Калиниченко приговорен к смертной казни. Привести приговор в исполнение поручается ему, Дмитру Сницаренко. Согласия его не спрашивалось. После этого был подъем по крутым ступенькам, долгое плутание по пашне, кукурузе, картофелю, дороге, и когда Дмитрию сняли повязку, была ночь, впереди огнями мерцала та же деревня, а голос сзади приказывал идти вперед и не оглядываться. Оба пистолета ему вернули...

Шитов неприятно поразил Дмитрия. С мешками у глаз, небритый, с запахом винного перегара изо рта, с лихорадочным блеском глаз, он был весь какой-то раскисший, опустившийся и нечистый. Встретил его радостно и даже как-то ожил и подтянулся. Но только в первые минуты. Когда выяснилось, что Дмитрий пришел с пустыми руками, остекленел, сник, упал локтями на стол и долго так сидел, забыв про Дмитрия, только чуть покачивался из стороны в сторону, да иногда пришептывал матерное слово...

Немного спустя поднял голову и моляще уставился на Дмитрия.

— Ну что, Димка! Неужто ничего не придумаем? А?

Дмитрий пожал плечами.

— Может, инсценировать покушение?

— Инсценировать! Это тебе не театр! Война!

Но при этих словах вдруг съежился и стал похож на крота, высунувшегося из норы.

Постелил Дмитрию тут же на диване, а когда тот начал раздеваться, спросил:

— Пистолет цел? Отдай.

Сунул его в карман, буркнул «спокойной ночи» и погасил свет. Дмитрий до тех пор, пока не уснул, слышал в соседней комнате его шаги, и уже засыпая, просто так отметил про себя, что шаги стали тверже.

Когда он проснулся, Шитова не было. Молчаливая Ирина покормила его и переодела, видимо, по указанию Шитова, в чистое белье, которое было ему широко и коротко. Дмитрий пытался вытянуть Ирину на разговор, но она двумя-тремя фразами дала ему понять, что разговаривать в ее функции не входит.

Он просмотрел свежие газеты, прослушал радио, почистил пистолет. Тот Шитов, что пришел к вечеру, был не похож на вчерашнего, но не похож был и на обычного Шитова, каким его знал Дмитрий. Какая-то злая решимость была во всех его движениях, во взгляде, в тоне голоса. Что-то колючее и предостерегающее появилось в нем. Дмитрий почувствовал это, но разбираться не хотел...

Оказалось, что принят план инсценировки убийства начальника ОББ, что сам он, Калиниченко, дал согласие и в курсе всей операции, что после инсценировки до окончания операции Калиниченко будет временно спрятан...

Дмитрий между прочим спросил:

— А это верно, что Калиниченко расстрелял...

Шитов не дал ему договорить.

— Не нашего ума дело. Кому надо, тот спросит, кому надо, тот ответит.

И Дмитрий ушел заканчивать операцию. Он уже не видел, как в течение двух часов, пока по стеклам не щелкнуло эхо отдаленных выстрелов, глушил Шитов рюмку за рюмкой, как носился он по комнате, вслушиваясь в темноту, как глотал какие-то таблетки и порошки, как подгнившим сухостоем рухнул на диван, когда стекла окон тонким дребезжанием пропели «финита» — кончено...

Три холостых патрона, которые в присутствии Дмитрия Шитов зарядил в браунинг, хлопнули как настоящие. Калиниченко очень правдоподобно переломился пополам и прямо лбом грохнулся на землю.

Дмитрий, успевший это заметить прежде, чем исчезнуть, искренне пожалел начальника ОББ, у которого наверняка завтра, и надолго, будет синяк на лбу. Он успел также заметить, как взорвалось страхом хорошенькое лицо молодой жены Калиниченко, и подумал, что для правдоподобия ее могли не предупредить, вдруг кто-нибудь следит за всем этим. Могли не предупредить. Они ведь оба на это способны, — что Шитов, что Калиниченко...

А через несколько дней с боем был взят бункер. Дмитрий получил тяжелое ранение и был отправлен в областной госпиталь, где перенес одну за одной две операции, где узнал о своем награждении и где наотрез отказался остаться в органах. Вскоре был откомандирован на Урал и никогда больше не встречался с Калиниченко. А с Шитовым...

VII

18 лет спустя

Восемнадцать лет спустя Дмитрий Петрович Сницаренко шел улицами дачного поселка благодатной черноземной полосы России. Крашеные домики, как улья, высовывались из зеленых омутов садов, пестрых клумб с яркими цветами. Ягоды малины свисали на дорогу сквозь плетеные заборы, выше, над головой, нависали яблоки и черные гроздья черемухи. Эти сказочные, уютные гнездышки источали аромат варений, телевизоров и персональных пенсий.

У калитки, открывающей путь в одно из таких гнездышек, Сницаренко остановился, просунул руку в специальное отверстие, отодвинул щеколду и вошел в сад, в другом конце которого сквозь аллею низеньким крашеным крыльцом выглядывало жилище хозяина этого райского уголка. У крыльца его встретил мальчик лет двенадцати с тонким, нежным личиком и девичьими бровями.

— Это мой папа, — ответил мальчик на вопрос Дмитрия Петровича, — они с мамой на огороде за домом.

И он пошел вперед, показывая проход среди клумб и кустов крыжовника.

Итак, Илья Захарович Шитов — отец. Этого Сницаренко не предполагал. Разумеется, это ничего не могло изменить, но Дмитрий Петрович сейчас не хотел бы спешить, чтобы о чем-то подумать до встречи с Шитовым, как будто появилось нечто новое, что нужно непременно продумать. Но мальчик шел быстро, и времени на размышление не было.

Шитов с женой сидели на корточках у грядки, что-то внимательно рассматривая, и не увидели появившегося из-за угла Сницаренко.

— Папка! — крикнул мальчик, пальцем показывая на гостя, и тотчас же убежал назад.

Медленно, очень медленно подходил Дмитрий Петрович к Шитову. Видно, что-то было в его лице — по мере его приближения так же медленно выпрямлялся и деревенел старый, седой Шитов. И его старая, поседевшая жена, чутьем женским почуяв беду, появившуюся из-за угла, так же медленно тянула к горлу сцепившиеся руки.

«Встать! Суд идет!» — сказал Сницаренко.

Нет, он этого не говорил. Он сказал: «Здравствуй, Шитов!».

«Виновен», — ответил Шитов.

Нет, он сказал: «Здравствуй, Дима!».

«Не надо!» — закричала жена Шитова.

Нет, она не закричала. Она тоже сказала: «Здравствуйте», хотя Дмитрий не поздоровался с ней, наверное потому, что не мог оторвать глаз от человека, который на всю жизнь сделал его убийцей и был убийцей сам.

Руки Шитов не подал, хотя долго и тщательно вытирал их о фартук, выигрывая время, чтобы собраться с мыслями. И по лицу его чувствовалось, что это ему трудно: в смятении был Шитов, постаревший Шитов. Заметил, однако, Сницаренко в его лице и во всем облике нечто такое, чего не помнил в нем. Старость сидела на плечах у Шитова, а глаза, кажется, были моложе прежнего...

— Ну что, в дом пойдем. Гостем будешь... — неуверенно и без особой радости проговорил, наконец, Шитов, по-прежнему не подавая руки, прошел мимо Сницаренко, попытался дружелюбно улыбнуться, но улыбки не получилось.

Когда уже заворачивали за угол, Дмитрий Петрович машинально оглянулся. Ирина стояла все так же, сведя руки к горлу, и на лице ее была тоска...

Они сели друг против друга у низенького стола в комнате-светелке, где украинский акцент чувствовался в каждом пустяке, да и сам Шитов был в украинской косоворотке с расшитым воротничком, и это удивило Сницаренко: он помнил, как Шитов в былые времена не выносил ничего украинского.

Лишних слов сказано не было.

— Говори, Дима, зачем пришел. Вижу, что не с добром. Волынку тянуть не будем... Бывшие солдаты оба. Давай...

Шитов вяло махнул рукой и уставился куда-то мимо Сницаренко. И ничего, кроме усталости, не было в его взгляде.

— Время пришло, Илья Захарович, платить по счетам. Когда-то ведь за все приходится платить. Нынче наша с вами очередь.

Дмитрий Петрович говорил тихо и сам удивлялся, почему нет в нем злости к Шитову, о ненависти и говорить не приходилось. Разговор начинался не так, как должен был начаться, но ничего изменить он не мог, потому что изменилось в нем что-то, и лишь безвыходность собственного положения вынуждала к разговору.

— Так. Значит, справедливость пришел восстанавливать, то есть Шитова — к ногтю!

Уж чего-чего, а вот такой враждебности услышать в голосе Шитова Сницаренко не ожидал никак, потому удивленно ответил:

— Мне кажется, Илья Захарович, ко мне вы не можете иметь претензий, я ведь уже сказал вам, что сам...

Шитов перебил его грубо и зло.

— А дела мне нет до тебя, милейший! Дела нет! Понял! Чувствуешь себя виноватым, ну и на здоровье! Иди, распнись! А я тебе, дураку, только плюну вслед! Понял! Ишь ты! Справедливость пришел восстанавли-

вать! А может быть, она уже давно восстановлена! Здесь!

Он стукнул себя в грудь.

— А может быть, я уже все муки человеческие принял и отпущение получил! Да что ты знаешь о справедливости! Ожидал поди, что на коленки брошусь, сопли на кулак наматывать стану! Чёрта лысого! Понял! Не только себя, листочка с самого паршивого своего дерева обидеть не дам! Ничего не знаю и знать не хочу! При тебе пистолет заряжал? При тебе или нет, спрашиваю?

— При мне... — пробормотал вконец растерявшийся Сницаренко.

— Ну вот, и выпутывайся сам. Может, ты его перезарядил потом, а я, дружок, холостые вставлял. Да и вообще я никаких приказаний тебе не давал. Сам ты все натворил! Выслужиться захотел! А я слухом не слыхивал ничего. И знать не знаю, кто эту гадину укокошил, ты или националисты. Вот такая моя программа, Дима!

Шитов закашлялся, схватился за сердце, побледнел.

— Что же, всё на меня хотите свалить, Илья Захарович?

Казалось, Шитов выкричался да и выдохся.

— Я тебя искал, Дима? Нет. Я тебя за язык тянул? Не тянул. Не дамся! Кусаться и царапаться буду до последнего. Не дамся! И не жди, Дима!

— Это ваше право, Илья Захарович! Но я за эти дни многое понял...

— Понял? Многое? — ехидно перебил его Шитов. — Да ты еще, Дима, сотой доли не понял из того, что тебе понять предстоит... А может быть, и не предстоит... Так и проживешь кутёнком непрозревшим. И как знать... — добавил Шитов, — может, для тебя так оно и лучше будет, а то вдруг силенок не хватит

переварить все... А сейчас вот кота за хвост ловишь и уважения к себе преисполнен.

Зубы заговаривал Шитов.

— Илья Захарович, меня опознала на улице жена Калиниченко. Она требует справедливости... Ведь мы убили...

Шитов криво усмехнулся.

— Убили, говоришь! Кого? Ее мужа? А скольких мы еще убили? За них кто-нибудь требует справедливости? Старуха Гнатючиха от разрыва сердца померла на допросе, мальчишка ее в лагерях сгинул, старик Гнатюк кровью изошел — кто-нибудь за них требует справедливости? А?

— Путаете, Илья Захарович! — Сницаренко еле сдерживал злость, — путаете! Была война, и были враги! Вы же своему против своего пистолет в руку вложили!

— Это кто, я путаю?! — опять взорвался Шитов. — Я восемнадцать лет распутываю, что напутал. Восемнадцать лет руки от крови людской землицей очищаю, а они всё пахнут! В сына своего по утрам всматриваюсь, — по наследству не передал ли! Да кто вправе судить меня! Есть ли хоть один, кто вправе?! Молодые — по молодости права не имеют, старики — по подлости! Своего, говоришь, убил! Вот когда он мне был свой, тогда и судить надо было! Теперь же пусть судят либо за всё, тогда и всех, и себя..! Либо за всё и всех, либо я невиновен! А дурочке этой расскажи, сколько невинных ее муженек на тот свет отправил, и сколько еще бы ухлопал, если бы я его по корысти не убрал! А судить старика Шитова только за то, что одну гниду извел, так это — не справедливость! Это — от жилетки рукава! И давай покончим наш разговор, Дима. Делай, как знаешь, а я сам по себе.

Вдруг Шитов перегнулся через стол вплотную к Сницаренко.

— Не верю! Не верю я тебе! Не верю, что справедливости хочешь! Думаешь на меня свалить, а сам по смягчающим выкарабкаться!

Дмитрий Петрович встал из-за стола, отошел к окну, открыл шторку. Под яблоней сидел на корточках сынишка Шитова и терпеливо что-то выстругивал складным ножом. Безмятежное спокойствие было на его бледненьком личике. Был он в мать, но должно было в нем быть что-то и от отца, чего Сницаренко, однако, найти не мог. А почему-то очень хотелось найти, будто ответ на какой-то вопрос.

Когда повернулся к Шитову, не узнал его. За столом сидел старик, бессильный и уставший, и Сницаренко вдруг понял, что не будет Шитов защищаться, а положит голову седую на плаху и глаза закроет.

Итак, все встанет на свои места. Преступник будет наказан. Свершится справедливость. И упадет на землю в отчаянии и слезах постаревшая жена Шитова, и омрачится вечной печалью бледненькое личико мальчика под яблоней. А если не так? Дмитрий Петрович представил себе квартиру в далеком сибирском городе, квартиру, в которой живет одинокая женщина, потерявшая мужа и оставшаяся ему верной. Эта женщина жаждала справедливости и была права, потому что жажда эта высушила ей жизнь. У Шитова справедливость своя, какая-то странная и непонятная. Есть и у него, Дмитрия Сницаренко, своя справедливость, ведь по сути он не совершал преступления, он никого не убивал, его вина в другом, а это другое подлежит иному суду, где и судья и защитник будет один и тот же — он сам. Так как же быть со справедливостью?! От него сейчас зависит, будет ли утолена жажда одинокой женщины в далеком городе и станут ли несчастными жена и сын Шитова. Есть же еще и просто справедливость преступления и наказания! Но почему справедливость не может прервать цепочку зла, а продолжает ее? Ну, а он, что? Что должен делать он? Взять на

себя ответственность? Но с какой стати! У него тоже семья, дети. Так что же?..

Мысли его прервал Шитов. Голос его звучал глухо, беззлобно.

— Сам нашел меня или через органы?

— Через органы.

— Так.

Шитов поднялся, подтянул на себе косоворотку, как проделывал это, бывало, с гимнастеркой, встал чуть ли не по швам, уставился в лицо Дмитрия Петровича. В глазах — обреченность.

— Ну, чего волынку тянуть. Если не один пришел, так зови сюда, чего им под забором прятаться.

— Я один пришел, Илья Захарович.

— Так.

Ничего не изменилось в лице Шитова. Стоял он так же прямо, как перед судом. Стоял молча, смотрел на Сницаренко, но не видел его.

— Прощайте, Илья Захарович, — тихо сказал Дмитрий Петрович и быстро мимо Шитова пошел к двери.

Грохоча сапогами, Шитов нагнал его на крыльце.

— Ты что ж, а...! Снизойти до меня не желаешь! Презираешь! Презирай! Плевать я хотел на тебя! Но уж, будь любезен, скажи, чего ждать! Или сразу собираться?

Шитов задыхался.

— Не пущу, пока не скажешь!

И он встал на пути у Дмитрия Петровича, расставив ноги, заложив руки за спину.

Еще до конца ни на что не решившийся Сницаренко вдруг, казалось, вовсе против своей воли и тем удивительней, четко проговорил:

— Считайте, что я у вас не был.

До калитки шел быстро, чуть не бегом, и все же у калитки Шитов снова нагнал его и встал на дороге.

На глазах были слезы. Слезы были и в горле, потому и не мог сразу сказать, что хотел.

— Дима, прости! — прошептал он уже как-то совсем по-стариковски.

Сницаренко кивнул ему, и убийцы расстались навсегда.

ПОВЕСТЬ СТРАННОГО ВРЕМЕНИ

1

«Хочу быть честным! Хочу быть честным! Хочу быть честным!»

Тысячу раз подряд могу я написать эту фразу. Могу каждое утро, просыпаясь, произносить ее, в течение дня десятки раз напоминать себе о ней, засыпать, произнося ее, соизмерять и соотносить с ней всякое действие свое, даже самое пустяковое и произвольное; но теперь-то я знаю, что это только иллюзия. Быть честным не зависит от желания одного человека. По крайней мере, это не зависит от моего желания, потому что мне не дано знать, что есть честное и что — бесчестное. Я это понял. Но все равно хочу быть честным, только честным. И потому я решил больше не жить.

Эта мысль впервые пришла мне в голову несколько дней назад, в то самое время, когда все открылось. Тогда это была только мысль, промелькнувшая в сознании, даже мимо сознания. Но она оказалась сильнее всего, что осталось во мне, и я сдался. Впрочем, нет. Не сдался. Я вооружился ею. Но не желая оказаться болтуном даже перед самим собой, не спешил с окончательным решением. Несколько дней взвешивал все за и против. Делал это спокойно и добросовестно. С дотошностью, какая только вообще возможна в таком деле, проанализировал я все возможные варианты, — и они оказались невозможными.

И я решил больше не жить. И в этом решении хочу быть честным, хотя бы уже потому, что э т о — единственное честное решение. Я еще, правда, не знаю, честно ли, что я пишу обо всем, потому что,

кажется, не знаю, зачем пишу. Но впереди у меня еще пять дней, срок достаточный, чтобы додумать второстепенное. Я так много думал за эти дни, что появилась необходимость взглянуть на свои мысли со стороны, прочитать их как чужие, хотя опять-таки не знаю еще, зачем мне это нужно, потому что решение принято...

...Впервые плыву на пароходе в каюте первого класса. Каюта одноместная. Но какая-то неуютная. А мне именно такая была нужна... Пароход плывет к чёрту на кулички и на этих куличках будет через пять дней. Сегодня первый день. Он уже кончается. Впереди еще четыре. Когда я принимал этот вариант, было интересно, как я отнесусь к оставшемуся мне сроку. Я думал, что, наверное, буду желать, чтобы он скорее прошел, и все случилось. Возможно, это так бы и было, если бы мое решение не было твердым. Но оказывается, что когда решение твердо, то совсем безразлично, сколько осталось дней...

Почти не качает. Я свободно хожу по каюте. Над умывальником большое зеркало, какое бывает в общественных уборных. Потому здесь так неуютно. Я внимательно рассматриваю свое изображение в зеркале. Когда-то, давным-давно, лет в тринадцать, внешность моя приносила мне много огорчений. Прямо сказать, она меня принципиально не устраивала, хотя причиной тому была всего лишь одна деталь — мой нос. В детстве он пошло задирался кверху. А я мечтал стать актером. Мечтал сыграть Овода. Над кроватью у меня висела иллюстрация к знаменитому роману. Черноволосый, чернобровый, прямоносый (да, прямоносый!) смотрел на меня герой, презрительно усмехаясь моей безуспешной попытке отыскать хоть капельку внешнего сходства между ним и мной. Если бы не нос, оно, возможно и было бы, и я пытался исправить свой биологический дефект. Уходил на целый день в

лес, надевал на нос резиновую повязку. Это было очень неудобно, но я терпел. А вечерами подолгу с волнением высматривал в зеркале свой профиль. Однажды за этим занятием меня застала...

...Выходил на палубу. Смотрел на воду, на берег, на небо. Все не то. А что оно было — то? Когда оно было и было ли вообще? Что-то умерло в мире, или изменилось до неузнаваемости, или вывернулось наизнанку подлинной сутью своей...

...Тогда, застав меня перед зеркалом, она сказала мне, что я ведь не девчонка, чтобы вертеться перед зеркалом. Не помню, чего я тогда больше испытывал, стыда или обиды. Пожалуй, стыда, потому что тогда считал, что она имеет право стыдить меня. Она же этого права не имела, и вообще не имела никаких прав. Но об этом я узнал недавно.

Внизу едут туристы. Они веселы и беспечны. Поют песни, играют в карты, танцуют на палубе под гитару. Они мои ровесники. Я пытался рассмотреть их лица и не увидел лиц. Все они самозабвенно во что-то играют, в какие-то ими самими придуманные игры и делают вид, будто не замечают этой игры друг в друге. А может быть, и вправду не замечают. Я же до недавнего времени не замечал! Мне трудно было заметить, потому что моя игра была с усложненными правилами, придуманными не мною, а теми, кто хитрей и сообразительней меня. Я играл в честного многообещающего человека. С точки зрения правил, я и был таким. Учился в школе хорошо, но не гонялся за похвалой, был достаточно спортивен и предприимчив, был политичен и патриотичен, был вежлив, трудолюбив, при необходимости смел и силен, любознателен и сообразителен. Таковы были правила моей игры, и к четырнадцати годам я работал уже по вполне высокому разряду. Модель, по которой я формировался, называлась моделью «честного человека».

Но быть честным оказалось невозможно в мире, который сам по себе есть бессмыслица. И я был наказан за чрезмерную претензию моей модели. Я совершил нечто, что сбросило меня с высоты моей мнимой порядочности в яму, из которой уже не выбраться. Сначала я объявил себе о своей невиновности, но саму виновность при этом понимал формально, по-крючкотворски. С такой позиции все, что произошло, не было плодом моей сознательной воли. Я не знал, что делал. И никакой закон не установил бы моей вины. Но вся беда в том, что я слишком добросовестно играл в свою игру, чтобы не уличить себя в недобросовестности. Будь я менее прямолинеен в своем варианте, будь модель моего характера чуть менее претенциозна, я бы возможно не сделал того, что уже невозможно ни изменить, ни забыть. Однако все другие варианты не зависели от меня, и я не знаю, от кого они зависели. Они были заранее исключены всей совокупностью того, что окружало меня и всех, кто участвовал в моей жизни. И когда развалилась моя модель, развалилось все вокруг меня, все оказалось иным, прямо противоположным. Добро оказалось злом, честность — подлостью, смысл — бессмыслицей...

Когда мне было лет девять, о н а однажды подарила мне проекционный фонарь. Тогда его называли «волшебным фонарем». Для меня он был действительно волшебным. Я любил его даже больше, чем кино. Потому что можно было вставить диапозитив, сесть ближе к экрану и без конца смотреть на фантастически яркие краски Африки или Австралии, воображением вписывать себя в этот незнакомый, необычный мир и рассказывать самому себе красивые, глупые сказки, где главный герой — непременно ты сам. Но иногда, во время самого невероятного разгула фантазии, в самый ответственный момент очередного приключения, когда герою, то есть мне, нужно было проявить максимум инициативы, я окончательно терял чувство

реальности и вскакивал со своего места. При этом, конечно же, загораживал головой луч проектора. И все исчезало. Вместо сказки на экране появлялась моя огромная голова с безобразно большими ушами.

...То же самое случилось со мной в жизни, в этой большой и хитроумной сказке, когда однажды я проявил действительно собственную инициативу, а то, что из этого получилось, даже нельзя назвать подлостью, но в то же время было чудовищно больше, чем подлость.

Сначала у меня было такое ощущение, будто я напряжением мускулов и воли подпрыгнул высоко над землей, и земля вдруг улетела куда-то ко всем чертям, а я, потеряв необходимость падать, повис в пустоте, не в силах осмыслить нелепость ситуации. Это ощущение было очень похоже на действительность. Я воистину повис в пустоте, оказавшись совсем один: без прошлого, так как должен был отречься от него, и без будущего, ведь не бывает будущего без прошлого. И *Я* уже не был *Я*, только мысль о том, что некогда было моим *Я*. У меня даже не было больше фамилии. В один миг на всей земле не осталось ни одного человека, который был бы мне нужен. Все вокруг меня либо перестали для меня быть самими собой, либо оказались чужими, потому что то, что нас связывало, оказалось фикцией. Они все этого не знали и не почувствовали, но я по-прежнему хотел быть честным (не мог же я отказаться от последнего, что во мне было) и сам порвал со всеми...

Уже вечер. Пароход подползает к какой-то пристани. В иллюминаторе каюты разворачиваются и приближаются цепочки и гнезда береговых огней. Где-то внизу сейчас сутолока, шум, крики, толкотня. Сюда же, в верхние каюты, ничего не доходит. Здесь тихо. Пассажиры-дальнорейсовики сидят в привилегированном ресторане или поеживаются на своей при-

вилегированной палубе, которая не знает туристской суеты, шума и запахов низших классов. Здесь тихо. Так тихо, будто во всех каютах плывут одни самоубийцы.

Мне пришлось пережить несколько неприятных минут на толкучке, когда я продавал кое-какие свои вещи, чтобы обеспечить себя этой тишиной. В последние пять дней я хочу быть один. Не слышать, не видеть. Никого и ничего...

Я вырос в городе, но так никогда и не врос в него. Я не чувствовал себя в городе чужим и одиноким, как это бывает с приезжающими, но сам себе я больше нравился в деревне. Не скромничая, зная себе цену, в деревне я все же всегда ощущал себя большим и лучшим. В город я любил возвращаться, каждый раз заново примеряя себя к его капризной требовательности, к непостоянству его эталонов и симпатий. Но еще больше я любил уезжать в деревню.

Маленький поселок у подножья горной страны с ближайших сопок походил на пасеку, скрытую в пышном, но немного запущенном саду. Веером расходились от поселка горные тропы. Были у меня в горах любимые места, куда я приходил в первые же дни по приезде...

Уже ночь, и пароход перемалывает темноту на самой середине реки. Сейчас пойду на палубу и буду стоять, пока не замерзну. Потом лягу спать, и один день кончится...

Время ведь — просто наша выдумка. По отношению к тому, что вечно, времени не существует. Есть темнота, и мы называем ее н о ч ь, есть свет, и мы называем его д е н ь. Сами придумали, сами называем. Но есть другие ночи и дни. Жизнь человека — его день. А все, что д о и п о с л е — ночь. Ночь

длиннее дня, но если время — выдумка, то они всегда равны. Равны дни всех людей, равны ночи, ночи и дни равны между собой. День больше, день меньше, год больше, год меньше... Больше, меньше — условность и выдумка. И потому завтра утром у меня останется столько же, сколько и было — мгновение...

2

Это был его первый рабочий день на новом месте. Это был его первый прием посетителей. Е е он должен был принять первой, потому что она пришла за несколько часов до начала приема. Проходя в свой кабинет, он сразу заметил и запомнил ее. Но первыми оказались другие. У всех у них были срочные и сложные проблемы, он же увлекся, затянул прием, запутался в обещаниях и разбирательствах, телефонных звонках, записях в календаре и блокноте. И когда время, отведенное для приема, истекло, он, уставший, недовольный собой и даже внешне потускневший, вышел в приемную и, окончательно разоблачая свою неопытность, то есть почти извиняясь, объявил, что больше никого принять не может. Тут он снова заметил ее и вспомнил. Она сидела на том же месте, а когда он удивленно взглянул на нее, стала поспешно что-то укладывать в сумочку и через минуту уже ушла бы. Но он подошел к ней.

— Вы пришли раньше всех. Почему не заходили?

Она ничего не ответила, низко опустила голову, пряча глаза, машинально открывая и закрывая сумочку. И по тому, как вздрагивали побледневшие губы, он понял, что она может расплакаться. Он еще раз повторил вопрос, но она только ниже опустила голову. Ему ничего не оставалось, как пригласить ее в кабинет...

Большеглазая, голубоглазая, курносая, худенькая, почти девчонка, не то после болезни, не то в большой беде, а может, и то и другое; одета очень скромно, разве только прическа по всем требованиям моды... А так как модой того времени была скромность, то прическа не выпадала из общего впечатления, которое она произвела на него в первые минуты их знакомства.

Стараясь уберечь себя от ее слез, он обратился к ней вполне вежливо, чтобы расположить к откровенности, но и достаточно сухо, чтобы удержать от истерики, к которой она, кажется, была близка, судя по ее состоянию.

— Как ваша фамилия, и что у вас случилось?

Несколько раз куснув губы, стараясь оставаться спокойной, она ответила очень тихо:

— Из комнаты меня выселяют.

— Как ваша фамилия? Где вы живете и работаете?

Она ответила так же тихо. Он записал, отложил ручку, чуть подался к ней.

— Успокойтесь и расскажите, почему и кто вас выселяет.

Тут она подняла голову, и он увидел ее большущие глаза, настолько наполненные слезами и горем, что ему стало не по себе. Он зачем-то поспешно взял карандаш, спохватившись, положил его на место, но не мог уже видеть ничего, кроме этих глаз, которые, если бы расплескались, весь мир залили бы расплавленным жемчугом — по крайней мере, именно это пошлое сравнение пришло ему в голову позже, когда он думал о ней. Но это позже. А сейчас ему просто стало не по себе, как бывает, если вдруг встречаешься с известным лишь понаслышке, но лично не пережитым, большим горем чужого человека.

— Мужа у меня забрали, — сказала она ему.

* * *

«Забрали». Это странно звучащее слово в то время было знакомо и понятно всем. Тогда не говорили «арестован», тогда говорили «забрали». И что ныне кажется особенно удивительным, это странное (иначе не скажешь) слово всей своей неопределенностью, многозначностью, условностью, и в то же время своей практической недвусмысленностью поразительно точно отвечало специфике своего времени, о котором уже много говорилось и верного и вздорного, и Бог знает что и сколько будет сказано. Возможно, людям так и не хватит мужества, и они по-прежнему будут искать виновника и, наверное, найдут его. Что может быть проще! Тогда это время предстанет перед ними бессмысленным и жестоким фарсом, но всем станет легче. Но, может быть, люди все же наберутся мужества и, вместо того, чтобы искать виновника, будут искать вину, и если найдут и поймут ее, то им станет тяжело и больно, потому что целая эпоха будет названа трагедией, герои которой — несколько поколений.

Странное время странных слов и странных событий! Стоит ли говорить больше, если нет желания впасть в прямолинейность и однозначность. Важно, что это время было, что о нем помнят...

Но еще более важно, что однажды у девятнадцатилетней женщины забрали мужа.

Каждый человек обычно по запросам своим и возможностям выбирает свой, личный масштаб взаимоотношений с миром. У великих политиков и полководцев он — один к одному. Они — на равных. У некоторых женщин таким масштабом становится мужчина. Кто из них больше выигрывает в таком союзе, трудно сказать. Но, если случается разрыв, женщина страдает всегда. Она слепнет. Пусть ненадолго. Но с ней случается примерно то же самое, как если бы близорукий человек в пути разбил очки.

«У меня забрали мужа», — сказала девятнадцатилетняя женщина человеку в учреждении. А этот человек только что собирался терпеливо и долго слушать ее и затем помочь ей, сделать для нее все, что будет в его силах. Он имел к тому возможности и полномочия. Но она сказала лишь одну странную фразу, а он уже понял все. И ясность, что выпала из этой фразы, та особенная ясность понимания, свойственная людям странного времени, заполнив собой кабинет, придавила человека к его служебного столу, лишив его возможностей и полномочий, сделала его беспомощным и бесполезным.

А она смотрела на него своими ослепшими глазами и, ни на что не надеясь, надеялась. Он еще не сказал ей «нет», и она надеялась, что он не скажет этого злого слова... если он хоть немножечко добрый...

Пожалуй, он и был добрым. Ведь во все времена быть добрым означало лишь не быть злым или быть не очень злым. Злым он не был. Это точно. Это уверенно подтвердили бы все, кто знал его. Ему часто хотелось помочь людям, и он не любил и тяжело переживал, когда ему это не удавалось. Такое качество человека принято называть отзывчивостью. Так и сказали о нем в свое время, несколько лет назад, когда выдвигали на первую ступеньку карьеры, которая, хотя и не стала фантастической, но вооружила его уверенной инерцией продвижений и успеха.

Разумеется, было бы наивно думать, что отзывчивость, как свойство характера, была главным козырем в его характеристиках. Конечно, нет. Там еще непременно значились слова: политически грамотен. И чем выше он поднимался, тем больший вес и уверенность приобретала эта самая его грамотность, а отзывчивость становилась снисходительным довеском в его биографии, который не мешает, но все же слишком дорогая роскошь для человека, обремененного ответственностью. Доброта, отзывчивость и прочие сенти-

ментальные категории в то странное время в общем-то попросту не рекомендовались.

Политическая грамотность, напротив, была для человека — в особенности человека на должности — вторым паспортом. Ныне эти слова тоже употребляются и, может быть, будут употребляться всегда и будут означать лишь некую сумму неких знаний. Тогда же этими словами обозначалась способность совмещать несовместимое, способность видеть вещи такими, какими они лишь могут быть, способность подчиняться, сохраняя в себе ощущение свободы, или освобождаться, подчиняясь. Иначе говоря, это было явление, лежащее, трудно сказать — выше или ниже, но несомненно, вне возможностей и пределов обыкновенного здравого смысла.

...И вот именно потому, что человек, к которому женщина пришла с бедой, был политически грамотен, именно потому он не только правильно понял сказанную ею странную фразу, но и без всяких рассказов и разъяснений осознал всю непоправимость ее беды и полную свою беспомощность. Но, если он заранее был лишен возможности сделать для этой женщины добро, то постараться не причинить ей зла было в его силах. Потому он не сказал ей, что жена врага народа не имеет морального права на снисходительность со стороны органов народной власти. Он не сказал ей этого, хотя мог. Он сделал то, что она и хотела от него: он предложил ей рассказать подробнее свою историю.

Ничего необычного в ее истории не было. Девчонка-лаборантка влюбилась в инженера, который был старше ее на десять лет. Почему влюбилась? При первой встрече его глаза показались ей строгими и усталыми, а они были очень добрыми. Это она, конечно, вычитала в каком-нибудь плохом романе. Говорит, что он красив. Что у него вьющиеся волосы цвета, как принято говорить, пепельного. Дурацкое срав-

нение. Губы, говорит, у него тоже не совсем обычные, тонкие, с каким-то особым печальным рисунком в улыбке. А подбородок, конечно же, волевой. Ох, уж эти волевые подбородки!

И все это — несущественно. Все могло быть совсем иначе: и глаза, как глаза, и губы обыкновенные, а подбородок уродлив. Существенно только то, что она влюбилась. Упаси Боже, чтобы он ее заметил! Конечно же, он ее не замечал. Она в этом уверена. (Интересно бы знать его мнение на этот счет.) Ну, пусть так. Он ее не замечал. И она, опять же сгорая от стыда и проклиная свою дерзость, стала чаще и чаще случайно встречаться с ним. Проще говоря, вертелась у него на глазах. Наконец, заметил... Был холоден и корректен... Интенсивное орошение подушки... Многозначительная синева под глазами... Ссоры на работе. Но вот постепенно... капля камень точит... Дальше — совсем неинтересно. И вообще, зачем он все это выслушивает, да еще сочувствием поощряет никому не нужную и не интересную исповедь. Ему же все ясно. Ее муж в лучшем случае оказался чьим-то прихвостнем, если не настоящим вредителем и троцкистом. Сама-то она, сразу видно, — дурочка, и какой с нее спрос. А квартира получена от производства и должна быть освобождена. Но она, кажется, о квартире уже и забыла, а рассказывает ему все, будто он может запросто поднять трубку и велеть привести сюда ее муженька с красивыми губами и волевым подбородком. Как бы не так! Ему сейчас Сам Господь Бог не поможет, коли сразу не освободили. Знает он этих парней с Зеленой улицы. Имел возможность познакомиться. Мало удовольствия, зато воспоминаний достаточно. Сидит напротив тебя твой ровесник, а чувствуешь себя напроказившим щенком. И это — когда совесть, как стеклышко! А если по-другому?

...Да, но что она говорит там? Прослушал... Вон в чем дело! Она беременна. Хуже. Уволили с работы...

исключили из комсомола... Ох, уж эти горячие головы! Надо же быть болваном, чтобы не видеть, что она просто дурочка, смазливая, лупоглазая дурочка...

...Зато троцкист был не дурак... Или наоборот, круглый дурак, если не сразу заметил такие блюдца...

Не мешало бы, конечно, для нее что-нибудь придумать, куда-нибудь устроить... Декретный отпуск ей теперь не положен. Можно попытаться разузнать и про инженера. Есть у него один канал... не очень гарантийный, зато без трёпа. Вообще же наделал себе хлопот! Почему именно сюда пришла, а не в райком? Что? Советская власть? Власть-то власть, да куда класть... Чего она там еще мелет? Какие ошибки? Хорошенькие ошибки, если их завод два годовых плана запорол!

Пора закругляться. Пусть придет через пару дней, что-нибудь придумаем с работой и жильем, да пусть не очень-то надеется на ошибки. Самое время своими ошибками заняться...

Ага! стоило пообещать на грош, и она уже смотрит, как на отца-благодетеля! Чёрт возьми! А приятно, однако же, быть благодетелем мадонны с синими глазами! Пожалуй, если бы...

Он вместе с ней вышел из кабинета и столкнулся с ехидным взглядом секретарши. Непременно эта старая дева уже что-то умозаключила! При первой возможности — избавиться... А сейчас — срочно в столовую. В четыре совещание у первого... Еще надо успеть просмотреть почту... В столовой, бросив плащ на прилавок гардероба, он машинально повернулся к большому настенному зеркалу и задержался. Рисунок улыбки... А какой у него этот рисунок? Он попытался улыбнуться, получилась гримаса. Рисунка не было. Были губы и зубы и морщины. Пожалуй, по части рисунка ему не повезло. И физиономия у него с детства немного бабья. Но в жизни это обстоятельство ему ни разу не помешало...

...А глаза у нее такие синие, как будто невзаправдашние, будто карандашом синим нарисованные. И где-то они глубоко-глубоко и оттуда, из глубины до самого верха голубыми слезами наполнены, и не слезами, а расплавленным жемчугом...

Идет она домой сейчас и думает: вот как повезло, попала к хорошему, чуткому человеку. Он так ей сочувствовал, так подробно обо всем расспрашивал, он не может не помочь ей, непременно поможет. Он всё узнает, и всё выяснится. Люди на Зеленой улице извинятся перед ее мужем и перед нею. Обязательно перед ней извинятся. Ведь они ей не поверили, когда она говорила о муже, ручалась за него, когда доказывала. Они извинятся перед ней за то, что кричали и ругались. И она не будет помнить зла. Она понимает, что их работа трудная, ведь вокруг столько нехороших людей оказалось, и это же обидно, когда люди, которым годами доверяли, оказались нехорошими. Им досадно. Она понимает и потому не обижается на них и сейчас, хотя они поступили несправедливо и были очень грубы. Но кто же на такой работе может остаться спокойным, когда на нем ответственность за все государство.

Она же маленький, простой человек, почему же на нее должно обрушиться непоправимое? Ей только один раз повезло по-настоящему: она очень удачно вышла замуж. Только и всего. Неужели это единственное счастье ее должно обернуться бедой? Этого не может быть! Это — нечестно по отношению к ней! А что он, ее муж, видел хорошего за свои тридцать лет? Голод, учеба, работа...

Жена директора тоже считает, что ее мужа забрали по ошибке, ходит и хлопочет. Может быть, тоже ошибка. Но если на заводе вредительство, кто же как не директор в ответе? Директор — это не сменный мастер, который только и знает, что свой цех, да и то одну смену. Она правильно сделала, что не стала под-

писывать письмо в Москву. Директор ли, парторг или главный инженер, кто-нибудь из них уж наверняка виноват, и потому ее мужу не надо быть в одном списке с ними. Они делами заправляли, им и расхлебывать. А она попытается другим путем разобраться, на месте, ни на кого не жалуясь. Везде есть хорошие люди, да разве из Москвы виднее? Надо только найти хорошего, честного человека. И она, кажется, нашла его. Он так подробно всё расспрашивал, а прием у него уже кончился. Она всё рассказала, как никогда еще никому не рассказывала. Даже стыдно вспомнить, какие подробности она выкладывала. Но так было нужно. Нужно было, чтобы этот человек поверил, что произошла ошибка. И он ей поверил. Иначе бы не стал давать обещания. Иначе бы не велел ей зайти через два дня. Конечно, он знал, что говорил и обещал. Он ей сочувствовал. Он понимал, что она говорит искренне. Искренность нельзя не почувствовать, потому что она не только в словах, хотя у нее и слова особые. Только злой человек не может чувствовать искренность и правду...

...А тот человек не был злым. И пожалуй, без преувеличения можно сказать, — он был добрым. Потому-то целый час взволнованно ходил он по кабинету, курил папиросу одну за другой, никого не принял за это время, не ответил ни на один телефонный звонок. А звонки бывают разные! Он был взволнован, потому что боялся предстоящей встречи с женщиной, которой два дня назад обещал помочь. Безответственно, в порыве глубокой сентиментальности дал обещание, зная уже тогда, что в самом главном помочь ей не в силах. Обещание было неконкретное, но обнадеживающее. И вот сейчас ему предстояло держать ответ за свою болтливость.

Вчера он кое-что пытался разузнать относительно судьбы ее мужа, и ему весьма откровенно порекомен-

довали не совать нос, куда не следует, дав тем самым понять, что дело это настолько серьезно, что даже его служебное положение вовсе не гарантия, если он будет вести себя глупо. Второй щелчок по носу он получил, когда пытался авторитетно вмешаться в действие жилкома и хотя бы отсрочить выселение синеглазой жены врага народа. Его просто-напросто отчитала по телефону какая-то гнусавая баба, высказав ему свои соображения по поводу бдительности и ротозейства в некоторых учреждениях.

Вдобавок ко всему этому он должен будет вытерпеть в лучшем случае море слез, а то и истерику. Надо же было ему связаться с этим делом!

И когда она вошла в кабинет и когда садилась на предложенный стул, теперь уже он, а не она, он, человек, не знающий за собой никаких прегрешений, кроме разве филантропических, он теперь прятал глаза и делал вид, будто то ли что-то важное ищет на столе среди бумаг, то ли просто наводит порядок на своем рабочем месте.

Однако он взял себя в руки. Очень серьезно, с глубоко сочувствующими интонациями он предложил ей быть мужественной и правильно (он подчеркнул это слово), правильно воспринять всё, что он, к глубокому его сожалению, вынужден ей сообщить. Мельком взглянул на нее и понял, что лучше не смотреть.

Далее он сказал ей, что дело ее оказалось в самом худшем виде, что мужа ее взяли правильно и, следовательно, она принимала его не за того человека; это означает также, что она сама есть жертва подлого обмана, с одной стороны, а с другой, частично и виновата, так как не разглядела врага, поддавшись слепому чувству.

И только сказав главное, он, наконец, взглянул на нее. И так стало ему противно за себя, за свой кабинет, за свои слова, за всё на свете, что ему вдруг захотелось оказаться далеко-далеко, совсем в другом мире,

где всё было иначе, и сам он в первую очередь, и чтобы вот так же рядом с ним сидела эта полуженщина-полуребенок, но не смотрела сквозь него мертвым взглядом, а обыкновенно, по-девятнадцатилетнему улыбалась бы, и не было бы между ними страшной, непонятной, непреодолимой тайны-трагедии, именуемой мудрено и настороженно — трудностями переходного периода. Захотелось ему также стать самым что ни есть темным, политически неграмотным элементом, чтобы освободиться от непосильного бремени веры, которая одновременно и требует знания, и не допускает его, призывает к действию и обрекает на пассивность, проклинает ложь и не позволяет быть честным.

Но что говорить! Если бы это желание было в нем сильно, он сумел бы его удовлетворить. Но беда в том, что кроме этого желания было у него еще много и других, всесильных и постоянных, а сумма их была его натурой. Да и разве это возможно, чтобы человек вдруг взял и выпал из координат своего времени? Наверно, это может случиться или уж с очень сильным человеком, или очень слабым. Он не был ни тем, ни другим. Он был средним. А значит, и опорой своего времени.

Чисто по-человечески потрясенный ее состоянием, что он мог предложить взамен ее утратам? Он предложил ей исправить то, что еще казалось возможным для исправления. В интересах ее будущего ребенка, в ее собственных интересах он посоветовал ей отречься от мужа, вернуть себе девичью фамилию и уехать куда-нибудь подальше. Родина велика.

Она послушно соглашалась на всё. И он тут же продиктовал ей текст заявления, пообещал как можно скорее дать ему ход. Он видел, что она не в себе, и сознательно использовал это ее состояние, понимая, что после могут прийти к ней колебания, сомнения, отчаяние. И, если она не сделает этого сейчас, то по-

том запутается в своих чувствах и осложнит положение.

Он еще длинно и путано что-то советовал ей, но слышал свой голос откуда-то со стороны. И кроме этого голоса, противного и нечистого, слышал еще два, перебивающих друг друга: один говорил ему, что он немедленно должен сделать нечто очень важное, что станет первым его настоящим делом в жизни, а другой — тон в тон, слово в слово кричал ему, что он не должен этого делать, потому что чёрт знает, что получится, и еще неизвестно, как всё обернется. Но ни тот, ни другой не говорили ему, что именно он должен или не должен сделать, словно это было ясно само собой. Ему же ничего не было ясно, и он еще некоторое время машинально говорил тоном старшего друга и наставника, с каждым словом чувствуя себя всё более и более погано, наверное потому еще, что никак не мог кончить говорить. Начиная каждую новую фразу как последнюю, заключительную, он вдруг вновь ударялся в какие-то пояснения, советы, рекомендации, предупреждения, запутывался и порол уже несусветную чушь. Но, наконец, совесть его возмутилась, и он прервал это подлое словоизлияние в самом неожиданном месте и сказал прегнуснейшую фразу, от которой оба вздрогнули:

— Ну, извините, меня ждут.

Она поднялась, сказала «спасибо», и он проглотил это слово, как оплеуху, хотя сказано оно было без всякого выражения. Когда она открывала дверь и когда закрывала ее за собой, у него появилось ощущение, что она ослепла... Когда дверь закрылась, он схватил какой-то толстый справочник и совсем было запустил его в дверь. Но мысль быстрее руки, и она подсказала ему, что не дело кидаться тяжелыми и нужными вещами в своем кабинете, рука замерла и мгновение спустя всей тяжестью переплетенной и спрессованной макулатуры упала на стол.

Людям странного времени полагалось бы в таких случаях иметь под рукой несколько недорогих стеклянных предметов. Давно проверено, что ничто так благотворно не действует на травмированную психику, как вид стеклянных осколков. Но прихоти не предусмотрены сметой.

Некоторое время он стоял за столом. Но вдруг бросился к окну и тут же отпрянул. Все правильно. Она стояла на той стороне маленькой площади и смотрела на окна его кабинета. На ходу он схватил плащ, кепку, на ходу крикнул секретарше, что уходит и придет не скоро. Очень быстро спустился по лестнице, перешел площадь, подошел к ней. Она не удивилась, а испугалась. Он взял ее под руку, резко, торопливо и спросил, где она живет.

Они долго шли по городу. Иногда очень быстро. Он почти тащил ее. Она запиналась. Он извинялся. И снова тащил. Она не противилась, но и не проявляла своего отношения. Кажется, просто подчинялась.

Отдельная двухкомнатная квартира на втором этаже была неплохо обставлена. Лучше, чем у него. На столе он увидел фотографию человека, который должен был обладать волевым подбородком. Но подбородок оказался обыкновенным, что его несказанно обрадовало и сделало еще более решительным.

На сборы ушел весь день. Пять или шесть раз он звонил по телефону. Первый раз секретарше, чтобы она отменила прием и не ждала его. Второй раз — договаривался насчет грузовой машины. Третий раз — узнавал расписание поездов. Потом еще и еще что-то уточнял, что-то согласовывал...

Была одна тяжелая сцена, когда очередь дошла до фотографии на столе. Полчаса или более сидела она на стуле с этим портретом в руках и плакала так, что утешать или говорить что-либо было бесполезным. Было мгновение, так ему показалось, когда могло что-

то случиться, точно электрическая искра повисла на конце обнаженного контакта и вот-вот готова была сорваться разрушительным, громовым разрядом. И в это опасное мгновение ее взгляд встретился с его молчаливым, строгим и неумолимым требованием. Да, он требовал. Он ставил условие. Требование и условие были логичны и разумны. Искра погасла в самой последней, самой крупной слезе. Фотография была упрятана в старых вещах...

А вечером этого же дня синеглазой, девятнадцатилетней женщины, у которой забрали мужа, уже не было в городе.

А ночью в холостяцкой квартире метался по комнате отзывчивый, но политически грамотный человек, истязал себя сознанием глупости, которую натворил...

А утром следующего дня в далеком таежном поселке, что примостился у подножья горной страны, старая женщина принимала в своем доме нежданную гостью, приехавшую к ней с письмом от сына, в котором он просил принять гостью как его сестру, просил помочь ей во всем, чем можно, и ждать его приезда через месяц...

А с вечера, всю ночь, утром, весь следующий день, и еще много дней, в грязном, прокуренном, провонявшем всеми запахами человеческой беды вагоне трясся человек с обыкновенным подбородком, совершивший, по мнению компетентных и политически грамотных товарищей, такие чудовищные злодеяния, которые едва ли могли быть под силу и десятку обладателей настоящих волевых подбородков.

3

...Кончается второй день из отпущенных мне пяти... Весь день не прикасался к бумаге. Писать было не о чем, да и не хотелось. Но вот в иллюминаторы заглянула ночь, и руки потянулись к тетради, и сильней,

чем прежде, испытываю потребность писать. Может быть — не писать, а выговориться перед самим собой. Кто-то открыл зубную боль в сердце, а у меня как-то необычно, по-особому болит голова, что-то болит в голове; а днем, когда стоял на палубе, несколько раз ловил себя на желании перегнуться и опустить голову в воду. Такая операция, наверное, и называется «промыть мозги»! Но я, право, чувствую, будто у меня в голове набито, и в беспорядке, а я только тем и занимаюсь, что навожу порядок и вношу логичность, но, кажется, многое ускользает, выпадает из цепи и остается в закоулках мозга, и порядок держится лишь ценой волевого напряжения, а не силой собственной логики. Мне необходимо вывалить все это на бумагу, пусть в беспорядке, но зато в видимом качестве. И так еще раз все пересмотреть... Разумеется, это не может повлиять на решение, которое принято, просто перестраховка.

...Сегодня днем вдруг захотелось взглянуть на пулю. Я достал патрон и разрядил его. Медвежий жакан с нарезом... Зажал его пальцами и с силой ударил в грудь... Больно... И как-то трудно представить, что этот тупой кусок свинца войдет в грудь, как иголка, разорвет мышцы, проломит кости и потушит мозг. И куда-то денутся, исчезнут мысли... А может быть, они где-нибудь остаются?.. Все мое сложное, противоречивое «Я» — может быть, оно останется где-нибудь?.. Но только уж не в отвратительном, голом гниющем черепе! Это было бы ужасно! Но еще ужаснее, что какой-то кусок мертвого металла способен превратить в ничто целый мир! А где же тогда закон сохранения энергии?.. Однако же какая это все чушь!..

После обеда машинально спустился вниз. На корме верхом на рюкзаках сидят туристы. Режутся в карты. Парни поглядывают на девчат, девчата поглядывают на парней, гитары тренькают, пароход гудит, люди щурятся и улыбаются...

Чёрт знает что! Мне показалось, что я сейчас потеряю сознание... Что за дьявольская маскировка! Кто придумал? Ведь всё ложь! В мире нет главного — правды! Зачем сверкает и плещется? Зачем улыбаются? Если нет главного? Если всякое действие имеет двойной смысл? Если невозможно быть честным! Не знают все остальные или только притворяются? Или знают что-то, чего не знаю я? Может быть, существует какая-нибудь сверхмудрость или какой-нибудь сверхсмысл? А если они есть и недоступны — какой прок!

Почему мне так страшно, когда я смотрю на этих веселых парней и девчат? Даже не просто страшно! Жутко! Мне хочется выключить их, чтобы потушить их улыбки и голоса, чтобы они замерли в тишине и неподвижности и прислушались к миру, который вокруг них. Разве можно его услышать, если так много говорить и улыбаться? Глухарь, когда поет, не слышит шагов охотника...

А может быть, с ними еще не случилось и не случится... Ведь не каждому суждено убить своего отца. Это выпало мне. Но за что? Неужели только за то, что я очень хотел быть честным?!

...А люди всё улыбаются и говорят, говорят. Особенно громко говорят о природе. Какая она кругом красивая, мудрая и целесообразная. Через объективы они растаскивают ее по кусочкам на память. И она не скудеет. И они еще больше восхищаются ею...

Это тоже игра с определенными правилами, главное из них — делать вид, будто не знаешь, что во всей природе, в каждой ее клетке постоянная вражда и борьба за мгновение бытия.

Из этих мгновений, как из прокручиваемых кадров кинопленки, складывается мираж постоянства, мудрости и вечности. Но как жизнь на экране есть лишь техническая спекуляция суммой мертвых кадров, так и вечность природы есть непрерывность умирания... Чего же больше в природе—жизни или смерти? Мудрос-

ти или бессмыслицы? До сих пор никто не сделал ни одной простейшей живой клетки. Зато кусочка свинца достаточно, чтобы не стало человека, самого хитрого из всего живого... Но люди — рабы своих мгновений, кроме которых у них ничего нет. Друг для друга прокручивают они кинематографическим способом свои и чужие мгновения, а то, что получается из этого, называют историей и мудрствуют над этой манипуляцией, и пророчествуют, и изощряются в изобретениях всеобщего смысла...

Может быть, клубок всеобщей бессмыслицы разматывается, но пусть этим занимаются другие, кто еще не приложил рук, чтобы запутать его... Я же решил больше не жить. Через три дня пароход придет в свой конечный пункт, я сойду с него и пойду в тайгу. Буду идти на север: пока хватит сил. Труп не должен быть обнаружен. Я не самоубийца. Я просто ухожу от людей и от мира. Миру на это наплевать, а людям знать незачем. Для них я просто исчез, потерялся навсегда. Всем, кому надо, я сказал, что уезжаю и никогда не вернусь. Так и есть. Я никогда не вернусь...

Я сказал ей об этом за десять минут. Несколько дней подряд в доме были слезы. У нее даже руки от слез стали красными. Но мне не было жалко ее. Она не была больше для меня матерью, она была лишь соучастницей. Она не оправдывалась. Во всем мире никто не смог бы ее оправдать. Так же, как и меня, так же, как и того, кто девятнадцать лет прикидывался моим отцом, а в действительности был самым главным убийцей из нас троих.

Все это я высказал им обоим. И они молчали. Он за эти дни постарел лет на двадцать. Как-то за один день появилось множество морщин, глаза провалились и обесцветились, появилась дрожь в руках, весь он осунулся, сник. А про нее и говорить нечего...

— Зачем же так? — простонала она, когда я сообщил ей, что ухожу. — Как же мы жить-то будем?

— Как жили девятнадцать лет, так и живите! — ответил я.

Мне хотелось добавить: «Если сможете жить»... Но я не добавил. Где-то я читал рассказ, как человека укусила кобра, и он ножом отрезал себе руку. Резал и кричал. Я тоже кричал. Не дома, конечно, а после, у дороги, когда ждал попутную машину. Катался по земле и ревел, как грудной ребенок. Ведь если бы я только свою руку резал... Но не мог же я продолжать жить с ними. Как бы мы стали смотреть в глаза друг другу? Для меня же вообще продолжать жить означало только одно — искупить вину. А это-то и невозможно! Моя вина только часть всеобщей бессмыслицы, а на решение проблем мне ли претендовать! С какой стати я должен распутывать узел, который запутывался целыми поколениями!

...Больно и смешно вспоминать, какой завидной идиллией выглядела наша семейная жизнь. Благополучием и счастьем дышала наша семья. Так казалось. Но на предательстве она воздвигалась и убийством кончилась. Они, этот человек и моя мать, совершив гнусное дело, надеялись во мне получить свое оправдание, я же стал их возмездием. Да разве могло быть иначе? Разве может родиться честь из бесчестия, правда из лжи, добро из зла? Чем больше они учили честности, тем тяжелей готовили себе участь...

Он пытался оправдаться, говорил, что они не знали, не понимали. Да кто им поверит! Какие души надо было иметь, чтобы понимать всё, что угодно, кроме голоса совести! Никто им не поверит, никто не оправдает!

4

Девятнадцатилетняя женщина ждала ребенка. Когда человек, бывший ее глазами и плечом, бесследно исчез в водовороте времени; она растерянно вскинула

руки, надеясь ощупью обрести хотя бы мало-мальскую опору, потому что, как же ей без опоры и без поддержки? Мир оглушил ее жестокостью и бессмыслицей, и она отвернулась от него, чтобы слышать то, что единственно и без всякого сомнения было истиной, было ее смыслом, ее продолжением, оправданием и надеждой. Она ждала ребенка. Ее распростертые, ослепшие руки наткнулись на случайно подвернувшуюся опору, и она доверилась ей и доверила всё, что имела. Она ждала ребенка. Она ждала. Если бы ей нечего было ждать, она либо ушла из этого мира, который обманул ее в счастье, либо, очертя голову, бросилась бы в самое пекло. Но она ждала. И потому без раздумий доверилась человеку, протянувшему ей руку. Рука эта казалась сильной и надежной. Обо всем остальном ей просто некогда было думать.

...А человек из учреждения уже через несколько часов проклинал себя за необдуманные действия. Зачем, спрашивал он себя, нужно было отправлять ее к матери? Что подумает мать? Что сам он скажет матери через месяц? Что будет делать потом с этой женщиной и ее ребенком? И как всё это отразится на его биографии, на его безупречной биографии. Приютил у себя жену врага народа!

Он мучался раскаянием. Он страдал раскаянием. Но когда ему надоело нагонять на себя страхи, он начинал временами чувствовать некоторое удовлетворение от того, что сделал. Конечно же, он понимал, что сделал добро, и сделал, побуждаемый самыми непосредственными чувствами, победившими инстинкт самосохранения. Это ли не свидетельство порядочности его натуры, которая так ценилась людьми, когда он еще не был поставлен судьбой выше простейших людских отношений.

Вот в таком противоречивом состоянии раскаяния и удовлетворения, положившись на мудрость утра, отошел в этот день ко сну человек филантро-

пического склада характера и значительного общественного положения.

...Пробуждение его было нерадостным, как бывает, когда человек переносит проблемы с одного дня на другой в надежде на утреннюю трезвость, а в сущности уступая своей лености и нерешительности.

Хмурый подходил он к своему учреждению, готовясь к неприятностям, из которых первой должна была быть встреча с секретаршей. Если бы он мог миновать ее, не здороваясь! Он не мог ее миновать и потому приготовил заранее несколько убийственных фраз, которые намеревался использовать в зависимости от варианта ее агрессивности. Вне всякого сомнения, она видела вчера в окно его, уходящего со своей посетительницей. Он подошел к приемной во всеоружии, настороженный, ощетинившийся, и растерялся, когда секретарша поднялась к нему навстречу с приветливой улыбкой, очень просто поздоровалась с ним и тут же перечислила все звонки, которые были вчера после его ухода, и спросила, когда он будет просматривать почту. Ее благожелательность была неожиданной и подозрительной, и он не смог сразу перестроиться, буркнул ей что-то невнятное и ринулся в свой кабинет. Но там его ждала еще большая неожиданность: на окне в вазочке стояли цветы. Удивленный, он подошел к окну и тотчас же услышал у себя за спиной:

— Извините, что я похозяйничала у вас, но мне думалось, что так будет уютнее.

Смущенный, он начал было благодарить ее, но она перебила его:

— Я была несправедлива к вам. Извините. Я знаю, я уверена, что вы помогли этой несчастной девочке? Да? Уж такое время сейчас...

— Время известно какое... — начал было он неуклюже, но спохватился и велел принести почту, чтобы скорее остаться одному.

День прошел быстро и хорошо. Всё ему удавалось: легко улаживались спорные вопросы, быстро и безотказно работал коммутатор, моментально находились всякие справки и документы, и сам он чувствовал себя молодым и всемогущим.

Так было днем. А вечером он бродил по своей холостяцкой квартире, как неприкаянный, и ни к чему не лежали руки, и глаз ничего не радовало, и душе было одиноко и больно. Хотелось напиться, но дома ничего спиртного не оказалось, а идти куда-то было лень.

Так было вечером. А ночью он понял, что все эти дни ни минуты не был порядочным или благородным человеком, а был лишь великим эгоистом, потому что все, сделанное им для этой женщины, в сущности, делалось для него самого: он хотел видеть ее своей, он влюбился и оттого стал добрым и благородным. Признать это было тяжело, но зато все встало на свои места. И дело было только за временем. Время же работало на него.

К усыновленному был добр не по долгу, а по чувству, тем самым, если бы даже и специально хотел, то не сумел бы сильнее привязать к себе жену. Они смогли так наладить свою семейную жизнь, что тот, другой, никогда не вставал между ними. Он исчез по ту сторону живого мира и превратился в частичку большой, недоступной тайны, которая сама была реальной лишь постольку, поскольку временами проявляла себя холодными чеканными фразами в уголках газет или в лаконичных сообщениях радио. Иногда где-то рядом — в соседнем подъезде или кабинете — исчезал человек. Только на некоторое время стекленели от недоумения глаза знавших его близко.

Но очень уж странная была эпоха. Люди знали и не знали, догадывались и не догадывались, верили и не верили. Можно только сказать, что то, во что они верили, было несоизмеримо больше того, в чем они до-

пускали сомнения. Столь необъятен и величествен был предмет их веры, столь всевластен он был в системе людских взаимоотношений, что почти полностью подменял собой всякое индивидуальное чутье, всякие личностные критерии. Им определялось все, даже малозначительные элементы морали. Вырабатывался какой-то удивительный социальный феномен, воплощающий в себе одновременно настоящее и будущее, цель и средство, веру и знание. Когда-нибудь этого величественного и чудовищного идола назовут социальным Нарциссом и будут правы уже потому, что так оно и было: идол не только жил и действовал для себя и во имя себя, но он еще и был патологически влюблен в себя и ревнив к самому себе, и не существовало такой жертвы, которую он бы не принес ради сохранения образа своего. Идол был фантастичен. У фантастики есть пределы, за которыми кончается возможность подобрать символы для ее понимания. И тогда в человеческой психике происходит смещение. И тогда фантазия воспринимается как вероятное и даже как действительное.

Фантастичность идола была как раз таковой. Против него были бессильны и доводы разума и доводы фактов. В природе человека склонность к чуду и жажда чуда. И это правомерно. Чудо было. Но в суете люди забыли о нем, а потребность осталась. И тогда они сами стали его творить по способностям и по потребностям. И творят до сих пор. И много уже натворили.

А где мерило ответственности? Если только в сумме последствий, то печально, потому что последствия всегда могут быть поняты без всякой связи со своей причиной, и значит люди никогда ничему не научатся. Черпать им тогда беды свои из бездонного колодца фантазий и утопий, каяться им и расплачиваться без конца своими судьбами и судьбами своих детей. Никто не скажет им — виноваты они или не

виноваты. Кто же возьмет на себя такую смелость? Разве посторонний? Но какое дело постороннему до чужой боли?

...Два человека встретились в мире, когда в нем, как факир под маской, ходила от дома к дому, собирая обильную дань, непонятная и непознанная беда. Они сделали вид, что не знают о ее существовании, и даже убедили себя в этом. Они выпололи из своей жизни все, что напоминало им о ней... Не осталось ни фамилии, ни отчества, осталась только где-то в старых вещах потускневшая фотография в старомодном паспарту́.

Наивные эгоисты! Они не учли случайность. В один летний день случайность подкатила к калитке их дома на легковой машине. Оказалось, что тот, кого они когда-то принесли в жертву, и о ком упорно забывали в течение многих лет, не забывал о них никогда. Память о них была для него все эти годы единственным лучом, согревающим поруганную душу и измученную плоть. И когда наступил предел терпению и надеждам, человек решился на отчаянный шаг. Он сказал себе, что должен увидеть сына и ту, которая предала его. Он должен увидеть их, потому что начинал сомневаться в их существовании. Он должен увидеть, а там — будь что будет...

Приехавший на легковой машине капитан просил сразу сообщить, если этот человек появится в их местах. Капитан хотел и сына подключить к делу, но отец категорически возражал, даже запретил. У него было много причин для этого, из которых, однако, он ни одной не смог бы вразумительно объяснить. У капитана причин не было. Дело для него было прежде всего. И он поступил по-своему...

Однажды, вернувшись с реки, отец и сын нашли мать заплаканной, даже, как показалось отцу, испу-

ганной. Когда остались вдвоем, она, прижимая к губам платок, прошептала:

— Он был здесь... Я разговаривала с ним...

— Чего он хочет?

— Увидеть сына.

— Что ты сказала ему?

— Я просила его уйти...

— А он?

Она упала на стул, плечи ее затряслись.

— Он говорит... как же так... Он говорит, что ни в чем не виноват... что я его предала...

— Где он?

— Не знаю... ушел...

Некоторое время они молчали. Потом он сказал:

— Они не должны встретиться. Я буду звонить в город...

Она бросилась к нему, схватила за руку.

— Нет! Нет! Не делай этого!

— Почему? Ты хочешь, чтобы всё развалилось?

Она прильнула к его плечу, рыдала и повторяла только:

— Нет! Нет! Я не знаю! Я ничего не знаю... Он был такой...

Рыдания не давали ей говорить. Да ей и нечего было говорить.

— Что же нам делать? Уехать завтра? Но он может и в городе появиться.

Вдруг она затихла, отстранилась от него и, глядя ему в глаза, сказала, как выдохнула:

— Пусть будет, как будет...

От этих слов им обоим стало страшно, и они несколько минут, обнявшись, стояли молча на середине комнаты, пока не услыхали в коридоре шаги сына.

5

В это лето мы жили, как всегда, в деревне. Приехали туда даже раньше, чем обычно, когда северные склоны ближних гор потели розовым ароматом багульника, а южные распадки разбухали ослепительно белыми облаками черемух. Все это я видел много раз, но всегда переживал наново, а в то лето, отчетливо помню, у меня было обостренное ощущение чего-то необычного вокруг...

Всё началось через неделю после приезда. Я возвращался с реки с приличным уловом. Не успел я закрыть за собой калитку, как около нее остановилась легковая машина, неизвестно откуда вынырнувшая. Из нее вышел пожилой человек в галифе, в кителе без погон, без головного убора. Он тут же крикнул мне, как будто мы были знакомы:

— Привет, рыбак! Отец дома?

— Дома, — ответил я, пытаясь припомнить, видел ли я его когда-нибудь. Нет, я его не видел.

Отец немного удивился и тотчас же провел его к себе в кабинет. Мне было очень интересно, что это за человек, я несколько раз проходил мимо кабинета, и то, что я вдруг услышал, поразило меня. Они, видимо, уже заканчивали разговор, потому что стояли у самой двери.

— Вы преувеличиваете, — говорил приезжий. — Он у вас уже взрослый и способен всё понять. Я в его возрасте...

Тут отец перебил его. Причем таким тоном, какого я никогда не слышал.

— Ни в коем случае. И больше не будем говорить на эту тему!

Я успел вовремя увернуться за угол, как они вышли.

За обедом приезжий много говорил, рассказывал забавные истории о рыбаках и охотниках, хвалил

мамину кухню, но, как мне показалось, чаще всего глядел на меня, а один раз даже подмигнул мне. И сделал это так, что ни мать, ни отец ничего не заметили. Я знал лишь его имя, кто он такой, я не знал, а спросить не решался, потому что любопытство есть порок, а пороки я себе воспрещал.

Тут же, за обедом, приезжий изъявил желание остаться у нас на день, чтобы сходить на рыбалку, при этом он вопросительно, как бы спрашивая разрешения, взглянул сначала на отца, потом на мать.

«Конечно же, оставайтесь», — торопливо ответил отец, и в этой торопливости я отчетливо услышал настороженность и недовольство. Но это услышал только я, так как хорошо знал все оттенки его голоса. Приезжий ничего не заметил и сразу обратился ко мне по поводу снастей, времени, условий рыбалки, то есть у нас завязался чисто профессиональный разговор, за которым, почти не скрывая беспокойства, следил отец, о чем-то все время усиленно раздумывая. Я был почти уверен, что рыбалка придумана ради меня. Но причем здесь я? Короче говоря, в доме поселилась тревожная, романтичная, подмигивающая на один глаз тайна. И эта тайна про меня, только про меня. С детства у меня очень сильно было развито воображение, но на этот раз оно работало вхолостую, и оттого тайна становилась еще более таинственной. У меня начисто пропал аппетит, и ночь я кое-как продремал до четырех утра, хотя, если говорить откровенно, в таком раннем подъеме особой нужды не было. Но я принципиальничал, и в половине пятого мы, то есть отец, приезжий и я, уже топали, поеживаясь от утренней сырости, по узкой, глубокой тропинке, которая всеми своими выкрутасами копировала характер горной речки, скатывающейся в нашу черемухово-багульничью долину с гор, воткнувшихся самыми дальними вершинами в северный горизонт. В речке ловился хариус, рыба привередливая, капризная. От любителя

требовались терпение и навык. Однако я скоро, к огорчению своему, убедился, что наш гость этими качествами не обладает. Он много суетился, без умолку говорил, лез под руку, в общем изрядно мешал, особенно мне. Но я чувствовал, что дело здесь не в рыбалке, что он хочет со мной поговорить. Отец, видимо, тоже догадывался об этом и потому не оставлял нас одних, хотя по условиям ловли лучше рыбачить в отдалении друг от друга.

Завязалась игра, в которой все партнеры знали цели друг друга и действовали поэтому, как говорится, в открытую. Но силы были не равны. Нас было двое, а отец один. И мы сумели обхитрить его, оторвавшись метров на пятьдесят. Как только мы остались одни, приезжий резко, прямо на глазах переменился. Лицо его стало строгим, исчезла суетливость, а в глазах появилось что-то охотничье.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал он вполголоса, кинув быстрый взгляд в ту сторону, где остался отец. Я согласно мотнул головой, давая понять, что давно догадался о его намерениях.

— Ты комсомолец?

Я снова мотнул головой.

— Хорошо, — сказал он и пододвинулся ко мне поближе. — Твой отец считает тебя маленьким. Все отцы одинаковы. В этом, конечно, ничего плохого нет. Но я-то вижу, что ты уже взрослый, самостоятельный парень, а значит, с тобой можно говорить серьезно. Так я говорю?

Он пристально посмотрел на меня. Я только кивал головой, замирая от предчувствия необычного и таинственного приключения.

— Знаешь, кто я?

— Нет.

— Про органы безопасности слышал?

— Конечно.

Он некоторое время помолчал, а я за этот корот-

кий миг прокрутил в мыслях добрый десяток детективных вариантов, пытаясь угадать контуры счастья, которое, кажется, выпадало на мою долю.

— То, что я тебе скажу, никто не должен знать. Даже отец и мать. Таков главный закон нашей работы. Понял?

— Понял, — ответил я, сглотнув слюну.

— Несколько лет назад нами был арестован один очень опасный вредитель и троцкист. Знаешь, кто такой троцкист?

— Который за Троцкого.

— Точно. Так вот, две недели назад он сбежал из... из тюрьмы, и мы имеем сведения, что он может появиться в вашем поселке.

Тут я искренне удивился:

— Чего же ему здесь делать?

Как ни странно, этот вопрос смутил моего собеседника, по крайней мере, он как-то замешкался, а я чуть-чуть усомнился во всей этой истории.

— Есть тут для него интерес. Но тебе этого знать не надо. Так вот, если ты увидишь незнакомого человека, я говорю — незнакомого, потому что ты же всех своих знаешь, вот если увидишь, никому ни слова, а сразу же беги к леснику и скажи ему только два слова: «Он здесь». Всё, что от тебя требуется. Никакой слежки, и вообще никаких фокусов. Только два слова леснику. Отцу и матери ни слова. Незачем их беспокоить. Всё понятно?

— Понятно, — кисло проговорил я. Разочарование было полное. Такое задание трехлетний бы выполнил. Да и появится ли этот человек здесь? А появится, на глаза не полезет.

В это время начался клёв. Как всегда неожиданно, один за другим стали нырять поплавки то у меня, то у приезжего. Я уже поймал с полдесятка, а он либо запаздывал подсекать, либо подсекал так, что леса со свистом вырывалась из воды, улетала через голову,

запутывалась при этом на ветках ближних деревьев. Приезжий нервничал, потом начал злиться и, наконец, в очередном рывке оборвал всю лесу, забросил удилище в реку, что, по рыбачьим законам, дело аморальное.

Переходя с места на место, мы с отцом спускались вниз по течению, выбирая то заводи, то перекаты, и следом за нами понуро брел наш гость, взявший на себя функции искать в траве сорвавшихся хариусов и распутывать наши лески, когда они цеплялись за кусты и ветки. Когда клёв прекратился, мы развели костер и стали жарить рыбу. Приезжий оживился. По части приготовления он оказался специалистом и познакомил нас с несколькими способами, о которых мы даже не слышали. Отец был молчалив необычно. Он подозревал. Я никак не мог понять, что его беспокоило. Ведь дело было пустяковое, и никаких причин для такого беспокойства не было. А он был не только обеспокоен, он был раздражен. И эта раздраженность проявилась совсем неожиданным образом, когда наш гость предложил достать невод и перегородить речку. Отец ответил очень резко, почти грубо, в том смысле, что жадность есть качество, присущее браконьеру, а не рыбаку. Тот сделал вид, что не заметил отцовского тона и отделался шуточками. Это он умел.

...В то время мне было четырнадцать лет. Мир был старше и хитрее меня, но я в это не верил. Я относился к нему как к ровеснику. И могло ли быть иначе? Имея готовый результат, трудно ли придумать условия его получения. Получив мир в определенном виде, я воспринимал историю его как правдоподобную выдумку. Да и кто в четырнадцать лет может серьезно поверить, что когда-то его не было, а все остальное было. Как вообще можно говорить о бытии, не предполагая себя в нем? Так я думал или примерно так. А может быть, вовсе не думал, а знал существом своим,

которое всегда только знает, а не думает. Разве мог я предполагать, что к моему появлению на свет те, что жили раньше меня, уже понавязали для меня узелков, что, появившись, я тотчас же получил в наследство все их проблемы, беды и ошибки, что не свободен я с первых своих шагов, с первого произнесенного слова, в первом проявлении своем и в первом чувстве?!

Я ничего не знал. И, наверное, поэтому не замечал назавтра и в последующие дни, что в нашей семье что-то произошло, что-то случилось. Поскольку все было, как обычно, то воспаленные глаза матери по утрам я воспринимал как ухудшение здоровья. Так говорилось. Молчаливость отца я принимал за озабоченность здоровьем матери. Это и меня беспокоило и огорчало. Но загадок я не хотел. Я хотел ясности и простоты. Я слишком многого хотел.

...Между тем днем, который я описал, и другим днем, когда все случилось, было еще несколько дней, но я их не запомнил. Сейчас в моей памяти они стоят рядом.

С утра я собирался уйти в лесниковое зимовье. Оно было в шести или семи километрах вверх по речке, которая в том месте перепрыгивала через завалы камней, когда-то сорвавшихся с ближайшей скалы. Ранним летом через эти пороги прорывался в таежные плёсы на икромёт серебристый хариус. В мутных водоворотах он отстаивался, набираясь сил для прыжков на водяные кручи. Здесь без труда можно было наловить на уху, можно было наловить и больше, но я не жадничал и ходил в эти места больше из-за красоты их. Почти отвесные скалы по обеим сторонам реки; на вершинах скал ветвистые, узловатые сосны, по распадкам россыпи огромных камней, грохот порогов и маленькая, уютная бревенчатая избушка на скальной площадке у порогов... Ее построил лесник, тот самый, о котором говорил приезжий. Я с ним был хорошо знаком. Это он впервые водил меня по тайге, учил

читать следы, рыбачить, выслеживать глухаря, разводить костры, находить воду. У него не было семьи, и он относился ко мне, как к сыну. Часто мы с ним вместе приходили на пороги и по нескольку дней жили в избушке. Родители мои доверяли леснику и отпускали меня без уговоров.

Но больше, пожалуй, я любил приходить туда один. Тайги я не боялся. Уже в тринадцать лет у меня был свой дробовик и я неплохо стрелял...

...Запах костра я почувствовал поздно, у последнего поворота, и еще не успел ничего подумать, как увидел около избушки дымящиеся головешки и рядом человека. Он сидел спиной ко мне и не услышал, когда я вынырнул из-за деревьев. Странно было всё: и как он сидел на земле, скрестив ноги и покачиваясь из стороны в сторону, и как был одет, — в рваной телогрейке, а неподалеку стояли огромные тупоносые ботинки. Сам он сидел босиком. На голове у него была старая зимняя шапка. Это в июне-то!

Удивление мое было недолгим. Отлично помню, что я совсем не испытывал страха. Было в его позе что-то беспомощное, безвредное. Может быть, от того, что сидел он, обхватив ладонями лицо, низко опустив голову, да еще покачивался. Можно было подумать, что он молится или плачет, или у него сильно болит голова. Я сразу понял, что это тот самый человек. И тогда пришло это чувство опьянения радостью подвига, риска, авантюризма или чего-то еще, что овладело мной и управляло решениями моими и поступками. Проверялась моя модель.

Я взвел боек, поднял ружье и крикнул по возможности басом: «Руки вверх!»

Мой крик подбросил человека, как мяч. На какое-то мгновение испуг перекосил его лицо, но только на мгновение. Увидев, что перед ним мальчишка, он не то чтобы успокоился, но просто стал рассматривать меня, не собираясь поднимать рук. Я повторил требо-

вание, не так громко, но так же решительно. Губы его шевельнулись, и я услышал короткое и злое: «Щенок!» Он пошел прямо на меня. Он шел на меня, но я точно помню, что не испугался, я знал, что буду стрелять. Когда между нами осталось шагов десять, я крикнул: «Стой! Стреляю!» и положил палец на спусковой крючок. И в ту же минуту с ужасом почувствовал, что палец не гнется, словно судорогой его свело. Тогда-то я понял, что такое страх. Он вошел в меня как электрический ток и сразу завладел всем телом. Оно затрепетало. Руки еле удерживали ружье, ноги подгибались, всего меня трясло и карежило. «Стой!» — закричал я, и даже услышал, что это был крик страха. Оставалось шагов пять. И вдруг случилось чудо. Человек остановился. На лице его появилась растерянность, нерешительность и еще что-то... не помню... Он вдруг сильно побледнел, особенно лоб. Я первый раз в жизни видел, как бледнеет человек. Это страшно! Губы его что-то прошептали, и он стал пристально рассматривать меня. Конечно, я не мог знать тогда, ч т о с таким волнением искал он в моем лице. И век бы мне этого не знать!

Вдруг я услышал его голос, тихий, прерывистый.

— Как тебя зовут?

Я принял этот вопрос как уловку и, преодолевая дрожь губ, упорно потребовал:

— Руки вверх!

Он больше не злился. Продолжая рассматривать меня, он сказал:

— А если я подниму руки, ты скажешь, как тебя зовут?

Я целился в него и молчал. Я не знал, что делать дальше. Сказать ему, что он арестован?

— Значит, ты меня арестовываешь? — спросил он, словно помогая мне.

— Да, — ответил я.

— А ты уверен, что меня нужно арестовывать? — снова спросил он.

Что-то было в его голосе очень неприятное для меня, неприятное, потому что опасное... Не так он должен был говорить и вести себя. Когда он шел на меня, был страх. Когда начал говорить, страх понемногу отступил, но появилась неуверенность, которая была для меня опаснее страха. Теперь я уже мог стрелять, но очень не хотел этого.

— Ты поведешь меня в милицию?

— Да, — сказал я как можно тверже и суровее.

— И не скажешь, как тебя зовут?

Я молчал.

— А потом не пожалеешь?

— Нет, — ответил я.

Вот еще новости! Буду я жалеть вредителей!

— Тогда пошли!

— Куда? — спросил я, немного опешив.

— В милицию, куда же.

Теперь он по-другому смотрел на меня. Сейчас я помню, — так смотрят, когда хотят мстить. Тогда же я принял это за уловку и предупредил не очень уверенно:

— Если что, я буду стрелять! Так и знайте!

Ехидная усмешка мелькнула на его лице.

— Неправильно!

— Что? — удивился я.

— Говоришь неправильно. Надо так: шаг вбок, шаг назад, прыжок вверх считается побегом! Конвой стреляет без предупреждения.

Я ничего не понял. Особенно, причем здесь прыжок вверх.

Он обулся, и мы действительно пошли. Первый он, на восемь-десять шагов сзади я. Но уже через полкилометра я понял, что взялся за безнадежное дело. Я просто не мог пройти семь километров с ружьем наизготовку. У меня уже и так руки отваливались. К

тому же нужно было все время смотреть себе под ноги. Споткнись я, и он в лучшем случае просто убежит, а то и набросится... Он, конечно, все это тоже отлично понимал и подчинялся мне, либо надеясь по дороге уйти, либо... он решил сдаться сам... Тогда, рассуждал я, в первом случае, он все равно уйдет, а во втором — зачем же мне держать его под ружьем, если он сдается сам?

— Стой! — крикнул я.

Он остановился и повернулся ко мне.

— Вы сами хотите сдаться, да?

Я сделал упор на слове «сами».

— Это кто тебе сказал?

Он понимал мое положение и издевался.

— Сдаваться я не собираюсь. Но раз ты меня арестовал, то веди. Только, если опустишь ружье, худо будет. Понял?

Я понял, что влип.

— Пошли! — скомандовал он.

Я превратился в подчиненного. Мы шли. Через полчаса в руках у меня уже было не ружье, а корабельная пушка. Глаза мне застилали слезы, и оттого все вокруг казалось сном, тяжелым и глупым. Где-то перед глазами покачивалась ненавистная спина, которая время от времени оскаливалась злой, насмешливой гримасой и стреляла в меня грубым окриком. Тогда руки мои, давно превратившиеся в свинцовые рычаги, поднимались сами собою... Наконец, наступил момент, когда я почувствовал, что сейчас выроню ружье или упаду, и это наверняка случилось бы, если бы меня не выручила находчивость. Я догадался перехватить инициативу. Приказал ему остановиться и объявил перекур.

Он сидел в метрах пяти от меня, а я почти лежал на земле. Ружье было брошено на куст и направлено на него, а я чуть-чуть придерживал его левой рукой,

которая устала меньше. Курить у него не было, или он был некурящий, потому просто сидел без движения и исподлобья непонятно смотрел на меня. Мне было не до его взглядов. Впереди оставалась половина пути или немногим меньше. Я знал, что не выдержу. Надо было что-то придумывать. Но вдруг он заговорил.

— Значит, тебе четырнадцать лет, ты комсомолец и уже можешь стрелять в человека?

Я удивился, откуда ему известно, что мне четырнадцать и про комсомол... А последняя часть фразы мне не понравилась.

— Не в человека, а во вредителя!

— Вот как! — теперь удивился он. — Тебе известно, что я вредитель?

— Известно! — подтвердил я.

— А больше тебе обо мне ничего не известно? — спросил он все с тем же странным оттенком в голосе, который не только не нравился мне, но и действовал на меня как-то расслабляюще.

— Известно, что вы троцкист, — ответил я.

Он вдруг всплеснул руками и расхохотался. Не знаю, почему, но я не мог вынести этот смех, он переворачивал во мне все, все спутывал, он раздражал меня, даже злил. Наверное потому я вдруг закричал на него, схватив ружье в руки:

— Чего смеетесь! Чего смеетесь! Вот сейчас трахну из ружья и уйду домой! Вы думаете, я буду с вредителями нянчиться, да!

Он перестал смеяться, скривился, как от боли, и сказал тихо:

— А куда ты мне стрелять будешь? В грудь? В лицо? Или в спину? Можно стрелять по ногам. Я тогда жив останусь и уйти не смогу. Ружье-то у тебя чем заряжено?

Почему мне тогда хотелось плакать? Как называется все, что я тогда испытывал? Что это было за чувство? Помню только, что мне было плохо, даже

хуже, чем идти с ружьем наизготовку. Это было хуже, чем усталость и изнеможение! Я вскочил на ноги и крикнул: «Пошли!»

Невероятно, что я тогда дошел. Три или четыре раза я падал, но тут же вскакивал на ноги и целился в человека, идущего впереди меня. Проходило некоторое время, и ружье опускалось вниз и чуть не волочилось по земле. Тогда он поворачивался и делал угрожающий жест. Иногда это бывал только жест, а иногда его лицо перекашивала такая злоба, что палец сам ложился на спусковой крючок. Но я его убирал вскоре, потому что боялся случайно выстрелить. Когда руки мои окончательно ушли из-под контроля, отчаянным усилием я спустил боек и положился на судьбу.

Был еще один перекур. Мне почему-то на этот раз хотелось, чтобы он заговорил. Очень хотелось! Но он не сказал ни слова, был хмур и печален...

За полкилометра от дома я снова остановился. Совесть моя была неспокойна. Практически он пришел сам. При желании он сто раз мог уйти от меня. Если так, зачем же мне вести его под ружьем через весь поселок?

Но пока я всё это обдумывал, он неожиданно спросил меня:

— Ну, что, устал?

— Устал.

Он болезненно улыбнулся.

— В общем-то ты молодец! Настоящим мужчиной станешь... — Тут он сделал паузу. Потом добавил: — Если из тебя человек получится.

— Вы действительно вредитель? — спросил я.

— Вот так номер! — проговорил он своим прежним неприятным тоном. — Арестовал человека, чуть не застрелил его, а теперь спрашиваешь! Такие вещи, сынок, задним числом не делаются. Уж если кого взял под ружье, тащи до конца!

— Чего вы хотите? — вырвалось у меня почти криком.

— Чего хочу? Хочу, чтобы ты привел меня под ружьем в милицию.

— Зачем? Зачем вам это надо?

— Мне этого не надо. Это тебе надо. И еще кое-кому...

И снова на его лице я увидел уже знакомое выражение мстительности и злости. Росла моя неуверенность. События теряли привычные для понимания черно-белые тона и требовали каких-то других критериев, требовали напряжения и времени для оценки. Я же хотел простоты и ясности. Мне было всего четырнадцать лет. По силам ли мне было понять людей странного времени.

— Вы правда вредитель? — снова спросил я.

Он молча смотрел на меня, и мне неприятен был его взгляд. В нем я почти реально ощущал пропасть между моим представлением о мире и самим миром.

...Никакой милиции в нашем поселке не было. Я мог привести его только к леснику. Дома поселка были разбросаны без всякого плана. Ближним был наш дом. Мимо него не пройти. Так мы и появились около калитки. Впереди он, с руками за спиной, сзади я с ружьем. Перед поселком он зачем-то выбросил шапку, а без нее выглядел еще страшней. Небритый, нестриженный, в рваной телогрейке, в квадратных ботинках, из которых высовывались грязные портянки, — таким он предстал перед отцом и матерью, неожиданно появившимися возле калитки.

Всё произошло очень быстро. Второй раз в этот день я видел, как бледнеет человек. Теперь это был отец. И в это время мать закричала. Закричала так страшно, что я чуть не выронил ружье из рук. Отец бросился к ней, неуклюже пытался не то обнять ее, не то увести в дом, но она отталкивала его, и обезумевшие глаза ее замирали, то на лице незнакомца, то на

моем ружье. От страха я лишился речи. Мой пленник стоял ко мне спиной, и я не мог видеть его лица, но я догадывался, что он смотрит на мать. И как только я подумал об этом, он повернулся ко мне, и я увидел, что по его грязному бородатому злому лицу текут слезы...

...События этого дня имели много последствий. Назавтра же мы вернулись в город, а мать положили в больницу. Мне сказали, что причина ее болезни — нервное потрясение из-за опасности, которой я подверг себя.

Через несколько дней меня пригласили в четырехэтажный дом на Зеленой улице и подарили карманные часы с надписью.

Через пять лет я разбил их об угол этого же дома и купил билет на пароход, который вот уже третьи сутки увозит меня все дальше и дальше от моего прошлого...

6

Колесо расплаты раскручивалось медленно, но неотвратимо. Когда она увидела сына и отца, то поняла, что произошло самое худшее, неправдоподобно худшее. И осознав в следующее мгновение чудовищность и непоправимость случившегося, она на миг почти лишилась рассудка, и крик боли, ужаса и протеста вырвался из ее груди и чуть было не выбил ружье из рук ее четырнадцатилетнего сына...

Провожать их пришел лесник, давнишний друг дома. Он был сильно пьян, что случалось с ним крайне редко. Пока они укладывали вещи и переносили их в машину, он стоял в стороне, нахмуренный, молчаливый, что-то иногда хмыкал себе под нос и пощипывал брови. В последний момент подошел сам, пожал всем

руки, но руку мальчика чуть задержал в своей и, повернувшись к отцу, пробормотал:

— Хорошего сына вырастили... далеко пойдет...

Мальчик засмущался, приняв эти слова за чистую монету, но тот, кому они адресовались, понял их правильно. Потому испуганно оглянулся и, убедившись, что мать ничего не слышала, необычно резким тоном приказал сыну идти к машине, а сам отвел лесника в сторону, и они некоторое время о чем-то говорили. Потом снова обменялись рукопожатием, и через минуту машина тронулась с места. При первых же рывках отъезжающие стали приспосабливать свои сидения к дальней дороге, и потому никто из них не увидел, как сплюнул в их сторону пьяный лесник.

...Шли годы.

Той, которой когда-то было девятнадцать, теперь было уже тридцать четыре. Но еще год назад на вид ей давали двадцать пять. Теперь же она выглядела за сорок.

...Шли годы.

Вокруг произошло много важных событий. И хотя события непосредственно не коснулись их, они имели к ним прямое отношение. Они приблизили тот день, когда однажды она увидела человека, о существовании которого давно забыла: это был бывший директор завода, где когда-то она работала вместе со своим первым мужем. Их забрали тогда в один день. Увидев его, она почувствовала, что сейчас должно произойти то, чего она ждала все последние годы, ждала, как ждут приговора. Она могла пройти мимо и отсрочить приговор, но напротив, бросилась к этому человеку, как мотылек на огонь. Он не узнал ее. Она напомнила.

— Ах, это вы... — сказал он вяло и равнодушно. — Ну, вот видите, всё кончилось... Мне жена писала, что вы отреклись от мужа... Это правда?

Она молчала и ждала приговора.

— Его расстреляли за побег. Он напал на конвойного, ушел. Но кто-то выдал его на воле... А вы, извините, поторопились.

И он ушел от нее, не прощаясь.

А она долго стояла посередине тротуара. Люди обходили ее, оглядывались, но не останавливались. Она пугала...

7

Мама! Мама! Что же со мной такое было? Как мог я наговорить тебе такое! Откуда были во мне злость и жестокость? Кому я мстил и с кем сводил счеты?

Вчера я вдруг проснулся среди ночи. Мне показалось, будто снова слышу твой крик, как тогда, несколько лет назад, когда привел под ружьем собственного отца. Теперь только твой голос шел откуда-то издалека и звучал долго, и много раз повторялся. Я вскочил и почему-то бросился к двери. Мне показалось, что за дверью стоишь ты! Впечатление рассеялось, и я снова был один в каюте парохода, идущего на север, к чёрту на кулички, где я всерьез собирался свести счеты с жизнью.

Не буду говорить, что был трусом, готовясь к самоубийству. Я не был трусом. Трус на это не способен. Я — могу. Но и сейчас, когда рыбачий катер везет меня на юг, всё ближе и ближе к дому, сейчас, когда я передумал и решил жить, знаю, что не струсил.

...Не буду перечитывать всё, что написал в этой тетради за три дня. У меня еще будет время. И не пять дней. Я всё перечитаю, переосмыслю всё написанное и ненаписанное, всё сказанное и невысказанное. Но это потом.

А сейчас я молю судьбу только об одном — чтобы за эти дни ничего не случилось дома!

...Вот как странно было со мной! Мысль работала трезво и четко. Доводы были убедительны, чувства искренни. И вдруг среди ночи я увидел глаза матери, услышал голос ее — и всё перевернулось, и бросился я на ее зов, забыв обо всем. Я ведь ничего не опроверг, ничего не перерешил, просто подчинился зову...

Мама! Мы всё равно расстанемся. Но это случится не раньше, чем глаза твои забудут про слезы, не раньше, чем улыбка твоя снова и навсегда поселится в нашем доме! Я еще распрямлю твои морщины, я научу тебя снова смеяться. Я не позволю больше поседеть ни одному твоему волосу. Ты только дождись меня. Я много должен сказать тебе. Я должен сказать тебе что-то такое, что сразу снимет с нашей семьи печать проклятия, наложенную временем и событиями. Сейчас я не знаю, что скажу. Но когда увижу тебя, уверен, слова найдутся сами.

Мертвое — мертвым. О мертвых будет разговор особый! Но живым — жить! И я буду звать его отцом. А кто же он мне, в конце концов!

...А потом мы всё-таки расстанемся, мама! Но ты поймешь, что так нужно... Ты поймешь и благословишь меня.

Потому что я хочу быть честным! Хочу быть честным! Хочу!

ВАРИАНТ

Сеновал находился напротив дома. Это был как бы второй этаж сарая, но в сущности лишь чердак сарая с крутым скатом крыши. Одним торцом сеновал выходил на улицу, к другому, со стороны огородов, была приставлена много раз штопанная лестница, которая угрожающе скрипела, когда Андрей лез по ней. Сена было немного, но запах его подействовал сильнее самогона, и когда Андрей, устроив ложе, плюхнулся, растянувшись в рост, голова его пошла кругом, и хмель закрутил, завертел, зашвырял его из стороны в сторону. Состояние было приятное и радостное. Была легкость и безмятежность. Запах сена был так неожиданно силен, что все остальные чувства и ощущения привел в растерянность. И еще... Он был запахом детства.

Его детство было связано с войной, и его детские игры были играми в войну. Почему они никогда не играли в солдат, всегда играли в партизан? А почему во всех играх он непременно бывал командиром отряда? Наверное, потому, что партизанский командир сам себе голова, над ним нет начальников?

Это соображение удивило и огорчило Андрея. Оказывается, в детстве у него были отчетливые анархистские наклонности! Мальчишки всегда подчинялись ему. И не только сверстники, но и те, что были старше, бесспорно признавали его главенство. Почему? Что подавляло их? Физически он был крепок, но не крепче многих. Фантазия? Может быть. Но скорее всего — его отношение к играм. Он всегда играл всерьез, и если игра требовала какого-то умения, он овладевал им, чего бы это ни стоило.

Если же взглянуть по-другому, то он просто не отличал жизнь от игры, может быть, оттого его жизнь стала похожей на игру. К тому же он всегда был приверженцем строгого соблюдения правил игры и никому не прощал их нарушения. Это пристрастие он перенес на жизнь, в которой также хотел видеть ясность, смысл и присущее детским играм благородство. Он не заметил, когда перестал играть в жизнь и когда началась собственно жизнь, а если это верно, то он — разновидность Дон-Кихота, характера симпатичного, но несчастного.

Да, всё, что с ним произошло теперь, было зашифровано в детстве, и к детству надо было обратиться раньше: несколько лет назад надо было приехать сюда, выпить дедовского самогона, забраться на сеновал, уткнуться носом в духоту сена и вспомнить... А может быть, тогда ничего бы не вспомнилось? Может быть, не в сене дело и не в алом закате, что каждым мазком и полутоном в памяти навечно, как и всё вокруг! Разве сотни раз не снился ему запах сена и цвет заката, и голос речки на перекатах, и он сам среди всего этого? Может быть, не в этом дело? А в пистолете, что давит на грудь, вдавливается в грудь, срывает дыхание и без того сегодня надорванное дедовским зельем?..

В детстве его не любили девчонки. Он не принимал их в игры. Его дразнили «задавакой». Девчонки интриговали против него. Но безуспешно. Он просто не считал их за людей. Они были для него бесполезной прихотью природы. Интерес, который он со временем начал проявлять к ним, сопровождался легким презрением, и он никогда не мог понять душещипательную литературу. В школьные годы Ромео казался ему дураком, в институте Вертер — шизофреником. Его героями были путешественники и революционеры. Одна девушка сказала о нем в его присутствии: «Скучный, как бесконечное соло на контрабасе». Этот отзыв он

принял с гордостью. Быть интересным для женщин — быть клоуном в глазах мужчин.

Любил ли он Ольгу? Он считал, что любил. То есть, он относился к ней исключительно, как ни к одной другой. Но вот только сейчас он начал догадываться, что мог бы действительно любить ее, и это «мог бы» и всё дальнейшее условно-сослагательное направление мысли, словно серым по пестрому, мгновенно омрачили его сентиментально-безбольное состояние и вернули, даже не вернули, а швырнули в реальность, которая в этот вечер милостиво отступила в глубину сознания, давая ему передышку, отдых, просто вздох прячущегося человека.

Сколько же ему осталось? Чего гадать! Нужно считать, что остался час, полчаса, десять минут! И тогда состояние готовности будет постоянным. Тогда не будет напряжения.

Продолжается жизнь. Или игра. Неважно! Нужно соблюдать правила до конца. И в этом — выигрыш!

1. Пятеро

В комнате необставленной и неуютной, с немытыми окнами и затертым полом, четверо ждали пятого. Он опаздывал. Общий разговор выдохся, и все сидели молча. Один, поглаживая темно-русую бородку, рассеянно смотрел в окно, другой пролистывал уже который раз от начала до конца какую-то потрепанную книгу, третий, развалившись в единственном кресле комиссионного происхождения, задумчиво ковырялся в часах. На старой кушетке полулежал четвертый. Одет он был хуже всех, точнее — небрежнее всех, был он небритый и невыспавшийся и даже непонятно, какой масти. Он один вписывался в эту комнату, потому что был ее хозяином. За двадцать пять рублей снимал он ее без телефона и ванной, без права на прописку, но зато с правом полной свободы в обращении

с арендуемой площадью. Этим правом он пользовался уже несколько лет, и поскольку был холостяк и неряха, то как-нибудь взяться и привести комнату в приличное состояние было уже просто невозможно. Его упрекали и стыдили. Он каялся и обещал, но всё оставалось по-старому. Привести бы сюда пару студенток, и комнату можно было спасти, но привести нельзя. Это явочная квартира. Конспирация же — превыше всего!

Пятью пять — двадцать пять. Пятеро складывались по пятерке и платили за квартиру. Правда, не у всех в нужный момент оказывалась лишняя пятерка. Именно у хозяина ее часто не оказывалось. Коля-хозяин жил на стипендию. От помощи друзей отказывался принципиально, и лишь вынужден бывал позволить заплатить за себя квартирные. Платил Константин, тот, что сейчас сидел в кресле. Папаша его был известный в Питере босс и сыну в карманных деньгах не отказывал. Константин одевался почти шикарно, почти изысканно, манеры имел аристократические, голос артистический, и потому неудивительно, что казался чужим в этой компании, если, конечно, взглянуть на нее взглядом постороннего и неосведомленного. Если бы не было Константина, то, пожалуй, тогда столь же случайным в этой комнате показался бы Вадим, но не по одежде или внешности, хотя бородка была только у него. Трудно сказать, чем он выделялся, но если бы кто-то посторонний заинтересовался ими, то он обратился бы с вопросом именно к Вадиму. Да что говорить, посторонний мог бы не без оснований посчитать их компанию случайной, потому что и четвертый, Павел, рыжий, как из анекдота, тоже казался сам по себе...

Вот он захлопнул книжку и повернулся к Коле-хозяину, который мужественно боролся с дремотой.

— Слушай, ты время не перепутал?

Костя и Вадим тоже посмотрели на Колю. Он же лишь обиженно хмыкнул.

Пятый опаздывал. Это было настолько против обыкновения, что ни один из ожидающих не высказал и слова неудовольствия. Причина могла быть только уважительная. И когда Константин произнес: «Однако!», то в этом возгласе было лишь искреннее удивление необычным поведением «командора», абсолютная пунктуальность которого иногда даже попахивала снобизмом.

...Если бы их было четверо, компания развалилась бы давно. Но был тот самый, пятый — цемент и железо. Это благодаря его, воистину, таланту, эти четверо, все разные до удивления, несколько лет были как один...

Происходило это не в девятнадцатом веке и не в начале двадцатого, а в самой его середине. Подпольная группа находилась в состоянии кризиса. Два года назад, когда разбрасывали первые листовки, ожидали назавтра бурю, а всё обошлось случайными шёпотками. Они были удивлены, обижены. Народ не услышал их или не захотел услышать. А они говорили ему правду о режиме, которая открылась им с несомненной очевидностью, с кричащей очевидностью. Но крики никто не услышал, будто уши ватой заложили, или воском залепили, или оглохли преднамеренно.

А они любили народ! Точнее, они очень хотели любить народ, хотя подозревали, что любовь эта будет без взаимности.

Шел не девятнадцатый век, а середина двадцатого, и они были не дворяне или разночинцы, а комсомольцы, но история повторялась, и они чувствовали это повторение, которое, как и всякое повторение, банально. Чувствовали, но из круга банальности вырваться не могли, и постепенно нагнеталось ощущение безысходности и обреченности.

Иногда они слышали, что где-то кого-то взяли и посадили за что-то подобное, и тогда с досадой стучали кулаками по столу, потому что опять прозевали и не увидели своих, а им так нужно было убедиться, что они не одни...

Шло время. Шалости уже не удовлетворяли. Оптимизм юности столкнулся с действительностью, которая не торопилась меняться и преобразовываться, народ не просыпался, и зарождалось сомнение, спит ли он.

Раньше, когда собирались вместе, сколько разговоров было, спорили как, до хрипоты, до обид. А вот сегодня уже почти час сидели молча. Ждали пятого. И ожидание было тягостным.

На исходе третьего получаса раздался, наконец, долгожданный условный стук в дверь. Колю смело́ с кушетки, и сна — ни в одном глазу.

Пятого звали Андреем. Он был худощав, высокого роста, темно-русый, с жесткими чертами лица. Он был не старше всех, но таковым казался. Мгновенным оценивающим взглядом он охватил всех, как офицер солдат перед боевым заданием. Никто ничего не сказал. Даже не поздоровались. Первым всегда говорил пятый.

Он подошел к свободному стулу, сел, нахмурился, отчего стал еще старше, молчал. Потом поднялся, подошел к столу, у которого были все четверо, поставил кулак на стол. Так он начинал говорить.

— Ничего не случилось.

Голос его был глухой, но без хрипоты, и такой же тяжелый, как его кулак.

— Ничего не случилось. Да и что может случиться с нами! Мы кроты!

Начало разговора было тревожным. Все смотрели на Андрея, но смотрели как-то сбоку, исподлобья, словно не смотрели, а подсматривали.

— Эти полтора часа я гулял по набережной Мойки. Несколько дней назад я решил сообщить вам очень важное. Но сегодня мне еще нужны были эти полтора часа.

Говорилось всё это тоном человека, уверенного, что никто не усомнится в его праве и правоте. Никто не усомнился.

— Мы потерпели фиаско. Это сегодня ясно каждому. И причина одна — Россия не готова, мы — преждевременные скороспелки. Продолжение нашей деятельности бессмысленно.

Теперь все смотрели на него удивленно.

— Мы никому не нужны. Мы смешны в своем желании кричать о том, что всем известно. Мы хотели рассказать о миллионах погибших, мы, однажды узнавшие об этом! А кому мы рассказывали? Тем, на чьих глазах всё происходило! И даже те, что выжили и вернулись из лагерей — вы же знаете, какую блевотину они выдают! Здесь что-то не так... Мы стучимся в каменную стену вместо двери...

Он пристукнул кулаком по столу, словно ставил ту самую точку, которая не получалась в словах. Потом заговорил другим голосом, незнакомым для его друзей.

— Понимаете, ребята, здесь какая-то тайна, задача из высшей математики, а мы решаем ее средствами таблицы умножения... Короче говоря, дело наше ликвидируется по причине отсутствия капитала!

Кроме Константина все казались сконфуженными, даже растерянными, так неожиданны и странны были речи «командора». И когда Константин обнаружил желание что-то сказать, все повернулись к нему с надеждой.

— А чем жить будем? Делать карьеру?

Константин спрашивал не Андрея, который сидел, опустив голову, нахмурившись и вдавив кулаки в стол.

Константин спрашивал всех, и потому никому легче не стало.

Константин покосился на Андрея. Тот молчал, но в молчании была недосказанность, и «правая рука командора» почувствовал это.

— Всё ли ты нам сказал, шеф?

— Не всё, — ответил тот. — У меня есть вариант для самого себя. Пусть каждый подумает над своим вариантом. Может быть, произойдет совпадение.

— Чего тянуть, давай сразу! — выскочил Коля-хозяин.

— Нет! — ответил Андрей. — Я буду говорить последний. Так есть у кого-нибудь свой вариант?

Сначала было молчание. Потом тот, у окна, длинноволосый с бородкой, зашевелился смущенно, и все повернулись к нему.

— У меня есть вариант, но... он ни с чем не совпадает... я знаю... Я давно к этому пришел, но не говорил...

Андрей смотрел на него подозрительно, похоже, что он действительно на совпадение не надеялся. А тот колебался, краснел, почему-то хрустел пальцами.

— Ну... в общем... не знаю и как рассказать... В общем... я занимаюсь... это не то слово, наверное, ну, интересуюсь что ли... христианством... Это серьезно... Вот собственно...

Он развел руками, виновато улыбнулся, оглядел всех так же виновато.

Общее молчание было лучшим свидетельством общего удивления. Даже у «командора» обычная жесткость выражения сменилась растерянным недоумением.

— Не понимаю, — сказал он. — Я интересуюсь иогами. Давно и серьезно. Ну и что?

— Это не то, Андрей, — как можно мягче ответил Вадим. — Мне трудно объяснить...

— Ты что, в Бога веришь, что ли? — напрямую с глуповато-удивленной улыбкой спросил Коля-хозяин. Коля не тянул на интеллект и мог позволить себе многое.

— Да, — чуть слышно ответил Вадим.

Сказал он это так, как застенчивые мальчики признаются своим друзьям во влюбленности, готовя себя к заведомому осмеянию. И еще, сказано это было так, что всем стало неудобно, будто действительно вынудили друга сказать о чем-то чрезвычайно интимном, что нельзя принять всерьез, но и нельзя позволить себе даже усмешку. Потому никто не смотрел в глаза Вадиму. И он, покраснев, опустил глаза в стол. Даже «командор» долго не мог найти нужных слов.

— Не понимаю, — сказал он раздраженно. — Если речь идет о религии как социальном институте, несущем положительную мораль... я сам думал об этом. Если у тебя есть идея в этом смысле, выскажи, обсудим... Может быть, действительно можно использовать...

— Нет, — перебил его Вадим, — не то. У меня нет никакой идеи. — На его лице было выражение пытки.

— Идеи нет, а вариант есть, — отпарировал Андрей.

— Я же сказал, что это мой личный вариант, он ничему не мешает. Я же делал всё, что и вы. Ты спросил, я ответил. Если ты хочешь предложить что-то новое, одно другому не мешает.

Вадим говорил уже спокойнее. К Андрею же вернулась его прежняя категоричность.

— Боюсь, что будет мешать, — сказал он жестко.

Коля-хозяин перегнулся через весь стол к Вадиму.

— Вадька, ты крестился, да?

— Отстань от него! — резко оборвал его Константин. Но Вадим ответил.

— Я крещен в детстве.

— Я тоже крещеный! — почему-то радостно крикнул Коля.

— Отстань, тебе говорят! — еще резче осадил Константин.

Тот, ничуть не обидевшись, отошел от стола, плюхнулся на кушетку. Константин повернулся к Вадиму.

— Ну, хорошо, Вадик, это, конечно, твое личное дело. Но знаешь... я не верю, что ты не связываешь этот личный свой вариант с какой-то, ну, скажем, перспективой... Или это просто уход от противоречий... Тогда можно понять... Ну, поясни же хоть что-то!

Вадим колебался.

— Нет, это не уход... Но, честное слово, у меня всё еще, как чутье... я самому себе еще не всё объяснил, но что это не уход, я уверен...

— Но разве религия не умирает во всем мире, — настаивал Константин, — если уже не умерла?

— Есть другое мнение, — осторожно ответил Вадим. — Но поверь, мне трудно говорить на эту тему.

Он беспомощно огляделся по сторонам. Напротив него в стене комнаты, что углом выходила во двор, были видны остатки двери, след давней перестройки дома.

— Смотри, — показал он туда. — Мы знаем, что за этой дверью ничего нет. Там улица. И вдруг, если бы мы ее открыли и обнаружили там зал и еще десятки комнат... Так и тут... Христианство — это целый мир, о существовании которого даже не подозревают...

— Ерунда всё это, — сказал вдруг до сих пор молчавший Павел.

— Едва ли, — возразил Константин.

— Во всяком случае, — как бы подводя черту

дискуссии, четко проговорил Андрей, — ясно одно: — с Вадимом мы расстаемся.

— Андрей! — испуганно встрепенулся Вадим.

— Да, — отрубил тот и, обращаясь почти единственно к Константину, спросил резко: — Есть у когонибудь другие варианты?

Константин пожал плечами. Коля поднялся с кушетки, подошел к столу, всем своим видом показывая, что у него не может быть никаких вариантов, кроме тех, что предложит «командор». Павел сказал за всех: «Нет вариантов», тем самым предоставляя слово Андрею.

Вадим сидел у окна в конце стола. Павел ближе к Андрею. Андрей обошел Павла, подошел к Вадиму. Лицо у Андрея было торжественно и строго. Вадим растерянно поднялся со стула.

— Вадим! — обратился к нему «командор», протягивая руку. — Спасибо тебе.

Смущенный и недоумевающий, Вадим принял руку Андрея.

— Ты был первым, кому я несколько лет назад высказал предложение создать организацию. Ты был верным товарищем. Наши пути расходятся. Поверь, я расстаюсь с тобой без упрека с моей стороны, надеюсь, и с твоей стороны упрека не будет.

Всё это было сказано не без некоторой театральности, но только для тех, кто мог бы со стороны наблюдать и слушать. Достаточно было взглянуть на Колю-хозяина, у которого в этот момент задрожали губы, а глаза стали большущими и влажными, чтобы понять особенность стиля взаимоотношений друзей, чтобы поверить в безыскусственность кажущейся патетики.

Вадим почти крикнул, вырвав руку:

— Ты что же, прогоняешь меня! Я же не отказываюсь...

Но «командор» не дрогнул:

— Твой вариант расходится с моим.

— Андрей! — пытался перебить его Вадим.

— Да. Расходятся. Несовместимы. Ты меня знаешь, напрасно не скажу. И ты уйдешь сейчас. Мой принцип — лишнему лишнего знать не надо.

— Я — лишний! — почти со слезами повторил Вадим.

— У тебя свой вариант, Вадик, — неожиданно мягко сказал Андрей, — ты проверь его, если не оправдается, ты скажешь мне об этом.

И помолчав, добавил хмуро:

— Если к тому времени я сам буду в своем варианте.

Он снова протянул руку Вадиму, но тот не шелохнулся. Андрей взял его за рукав.

— Через пару дней я зайду к тебе. И мы еще потолкуем. Уходи, Вадик.

Вадим вздрогнул.

— Я уйду, — сказал он, не глядя на Андрея. — Но ты что-то делаешь неправильно, потому что я чувствую себя предателем. А это не так.

Андрей сам взял его руку, крепко сжал.

— Это не так! — Добавил нехотя: — Если ты действительно нашел свой вариант, поверь... я тебе завидую.

Вадим освободил руку и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Друзья слышали, как он быстро спускался с лестницы. На некоторое время в комнате наступила тишина, как вдруг раздался торопливый, нервный стук. Коля переглянулся с Андреем, пошел открывать. На пороге стоял Вадим.

— Храни вас Бог! — сказал он еле слышно и бросился вниз по лестнице.

Коля еще бы долго стоял с открытым ртом, но Андрей крикнул:

— Дверь!

— Ну и дела! — процедил Павел, барабаня пальцами по книжке.

Андрей взял стул Вадима, перенес его на свое место. Сел. Коля подтащил еще стул и тоже сел у стола. Все чувствовали себя погано и с облегчением вздохнули, когда Андрей начал говорить. А говорить он начал неуверенно, странно как-то, подыскивая слова, задумываясь над сказанным. Не узнавали друзья «командора», но слушали внимательно, может быть, чтобы избавиться от неловкости после всего, что произошло.

— Я сказал уже, что дальнейшая наша возня с листовками и прочее... всё бессмысленно. Что-то мы не понимаем в ситуации и получается, что мы ее насилуем... В сущности, что мы знаем? Что власть, которая претендует на идеал, преступна. Мы узнали это не из секретных документов, а из источников, всем доступных. Но реагируем почему-то только мы... Вот это «почему-то» нам, видимо, не разгадать. А не реагировать — не можем. Не можем ведь, так я говорю?

— Валяй дальше, — буркнул Павел.

— Понимаете, между нами и всеми есть какой-то разрыв... Во времени или пространстве, не знаю. Только я знаю точно, что убивали людей, я знаю, что есть люди, которые убивали...

Андрей умолк на мгновение. Константин пристально смотрел ему в глаза.

Андрей поднялся, прошелся по комнате, остановился в углу.

— Так вот, я считаю, единственное, что мы делать вправе, это — карать убийц!

— Как это — карать! Убивать что ли?! — ахнул Павел.

— Нет, не убивать, — твердо ответил Андрей, — а именно карать!

— Именем народа, — не без иронии подсказал Константин.

Но Андрей быстро подошел к нему, наклонился:

— Нет, Костя, как раз нет! Ты читал Киплинга, помнишь! Как там?

Константин пожал плечами, припоминая, что именно. Вопросительно произнес две строчки:

Если в риске ты поставишь
На орла, а выйдет решка...

— Нет! Нет! — перебил его Андрей. — То есть это, только дальше.

Константин подумал еще и уже уверенно, при этом, правда, будто заново вслушиваясь в знакомые слова, продолжил:

Если ты умеешь правду
Неподкупности и чести
Говорить царям и толпам,
Отвечая головой...

— Вот! — рубанул Андрей. — Вот! Отвечая головой. Ничьим именем, кроме своего! Так получилось, что мы не с царями и не в толпе. Известно, что за правду толпа растаптывала, а цари казнили. Часто это происходило одновременно. Похоже, что мы живем именно в такое время. И мы можем и должны действовать только от своего имени и быть готовыми ответить за это головой. Таков мой вариант.

Он сел. Но вскочил Павел.

— Подожди! Я всё-таки не понял. Как ты собираешься их карать?

— Смертной казнью, Паша, — печально пояснил за Андрея Константин.

— Убивать! — в ужасе произнес Павел.

— Ничего себе вариантик! — ошеломленно пробормотал Коля-хозяин.

Андрей молча смотрел на мечущегося по комнате Павла.

— Чем ты собираешься карать? — вполусерьез шепнул Константин.

— Вопрос второстепенный, — отрезал Андрей.

— Это точно, — с улыбкой согласился Константин и начал ковыряться в ободке часов.

— Слушайте, ребята! — взмолился Павел, разлохмачивая свои рыжие вихры. — Подумайте, о чем говорите!

Он обращался к Андрею и Константину одновременно. Коля был не в счет. Он, казалось, вообще выключился и только таращил глаза то на одного, то на другого.

— Листовки, демонстрации, пропаганда — я понимаю! Но убивать! Это же...

— Убивают людей, — холодно, почти враждебно отпарировал Андрей, — а карают убийц!

— Но это же только слова!

— Короче! — зло бросил Андрей.

Павел подошел к нему вплотную.

— Нет, Андрей, короче не будет! Не в фантики играть предлагаешь.

— Ты не прав, Андрюша, — сказал Константин.

— В чем? — резко повернулся Андрей.

— Сколько времени ты думал над этим вариантом?

— Два месяца, — четко ответил Андрей.

— А нам не даешь и пяти минут?

Андрей поиграл желваками.

— Хорошо. Сколько вам надо времени, чтобы подумать?

— Смотря кому, — спокойно ответил Константин. — Спроси каждого.

— Спрашиваю. Сколько времени нужно т е б е, чтобы подумать?

Таким же невозмутимым тоном, так же ковыряясь в часах, Константин сказал:

— Мне хватит того времени, пока ты будешь спрашивать остальных.

Андрей внимательно смотрел на него, точно пы-

тался уловить что-то в интонациях или поведении друга. Обратился к Павлу.

— Сколько т е б е нужно времени?

Павел стоял против него нахохлившийся, решительный.

— Если ты уже всё решил и не хочешь обсуждать, то мне нисколько не нужно времени! Убивать я не буду!

— Так.

Они смотрели друг другу в глаза. Взгляд Андрея смягчился.

— Я знал, Паша, что мой вариант не всем подойдет, и допускал, что не подойдет никому.

Едва ли «командор» был искренен в эту минуту. Но продолжал:

— Не сердись! Каждому свое. Спасибо за прошлое!

Он протянул руку Павлу. Тот сразу скис.

— Андрей, пойми...

Но тот перебил его.

— Не нужно. Расстанемся друзьями! Извини, что напоминаю про клятву.

— Само собой, — пробормотал Павел, опуская глаза.

Сложив руки на груди, Андрей подошел к Николаю.

— Ну а ты?

В этом вопросе не только не было надежды, но даже саркастически прозвучал сам вопрос.

Коля развел руками, пожал плечами, покрутил головой и сказал неожиданно для всех:

— Я как ты... Ну с тобой, значит...

Андрей не сумел скрыть удивления и даже руки опустил.

— Это что, серьезно?

— Куда ты лезешь, дура мамина! — заорал на него Павел.

Коля скосился в его сторону.

— Если ты боишься, так молчи!

— Я боюсь... — растерялся Павел. — Я не боюсь. И... по крайней мере, это не главное. — Он вдруг начал заикаться. — Андрей, честное слово, дело не в этом! Ты веришь мне! Я не хочу никого убивать! Никого! Понимаешь!

— Верю! — ответил Андрей. — Даю тебе честное слово, что верю. — Он повернулся к Коле, с любопытством разглядывая его. — А ты, однако, чудной парень! — Коля глуповато и счастливо улыбался. — Не программированный! Всё же подумай еще.

— Подумал, — буркнул Коля.

— Ну смотри!

Андрей подошел к столу, сел напротив Константина.

— Что скажешь, Костя?

Константин улыбнулся.

— Чего ж! Я — как Коля.

— Как я? — изумился тот. — Я с Андреем!

И поняв шутку, расхохотался.

Теперь все трое смотрели на Павла, который сидел на кушетке, уронив голову на руки.

— Нет, — прошептал он, — не могу. Если сейчас поддамся, потом жалеть буду.

Встал, подошел к Андрею.

— Прости, Андрей. Это не по мне!

— Прощай, — подал руку «командор».

Когда затихли шаги на лестнице, Андрей сказал:

— Итак, нас осталось трое! Это даже больше, чем я ожидал.

— Три мушкетера! — подхватил Коля. — Андрей, конечно, Атос, Костя — Арамис! А я?

Он жалобно посмотрел на друзей.

— Да, — сочувственно заметил Костя, — на Портоса ты как-то не тянешь!

Они долго смеялись, все трое. Смех был нервный.

Андрей взглянул на часы.

— Приступим?

Сели друг напротив друга.

— Есть такое место, Лемболово, знаете?

Кивнули. Андрей достал из внутреннего кармана пиджака тетрадь.

— Живет там один человек, Михаилом Борисовичем Колчановым именуется. Вот досье на него. Показания четырех человек. Записал со слов. Прищемлял пальцы, прижигал губы спичками, бил ногами, пытал голодом, таскал за волосы женщину — и прочие подвиги. Сейчас подполковник на пенсии. Заядлый цветовод.

— Семья есть? — осторожно спросил Константин.

— Ну и что? — ответил Андрей. — У тех тоже были семьи.

— Конечно... Это я так. Интересно, какие у него потомки.

— Не знаю. Можно поинтересоваться, — неуверенно предложил Андрей.

— Да ну их!

— А как...? Чем? — спросил Коля.

— Нам нужен всего один пистолет. И через... — Андрей взглянул на часы, — через четыре часа мы будём его иметь!

Снова полез в карман, достал лист бумаги, сложенный вчетверо, распрямил, положил на стол.

— Смотрите. Это Суворовский, это Старо-Невский, это 2-я Советская. Узнаёте? Вот из этого дома в одиннадцать или около этого выйдет участковый. Он пойдет сюда... Здесь поворот. Тут мы его и возьмем!

— Как возьмем? — испуганно спросил Коля.

Андрей усмехнулся.

— Не бойся, убивать не будем. Удар в солнечное, пистолет из кармана... три минуты пробежать двором вот сюда... дальше в разные стороны. Я с пистолетом

к автобусу. Если его не будет, хотя должен быть, тогда напроход на Старо-Невский. Встретимся завтра здесь. Вот и всё. Срыва не должно быть. Я месяц всё это вынюхивал. А теперь небольшая репетиция...

Когда расходились, Андрей задержал Константина у подъезда.

— Костя, скажи, ты действительно всё обдумал или просто пошел за мной? Только честно.

Константин вздохнул.

— Если честно, то... просто пошел за тобой.

У Андрея погрустнели глаза.

— А что мне оставалось делать, Андрюша! Мой дорогой папаша, ты знаешь, партийный босс, и не вчера он им стал. Значит причастен. Да и сам я комсомольский активист... Как-то я должен искупать семейную пакость.

— Но ты-то можешь отказаться... Не силой тянут. Извини, я верил тебе и никогда не говорил на эту тему.

Константин прислонился спиной к стене, запрокинул голову.

— На факультете меня называют идеалистом. Жалко, Андрюша, расставаться с идеалом! Такие хорошие и красивые слова! Ведь не может же быть, что всё ложь! Сотни поколений... миллионы жертв... Разве может зло принимать такую соблазнительную форму! Взгляни на историю — сплошная ненависть и вражда. Коммунизм — это идея братства, всечеловеческого братства...

— А что получается? — мрачно вставил Андрей.

— А, может быть, просто не получается? И если нет мечты, нет идеала, для чего жить! Вот Вадим нашел вариант. Бог! Тебе это о чем-нибудь говорит?

Андрей махнул рукой.

— И для меня тоже это только символ несостоявшегося идеала. Может быть, я чего-то не знаю...

Послушай, давай как-нибудь сходим, поищем умного священника, послушаем их аргументацию!

— А есть ли они, умные? — усмехнулся Андрей.

— Должны быть! Были же раньше.

— Посмотрим, может, и сходим... Хотя, откровенно говоря, меня это не вдохновляет.

— А все же любопытно... Что же до моей активности, — продолжал грустно Константин, — то получается, что я попутно проверяю идею отрицанием и утверждением... Ты же не осуждаешь меня.

— Нет.

— Ну и хорошо. А на остальных мне наплевать!

Андрей вдруг хлопнул его по плечу, отошел на шаг, оглядел с головы до ног, рассмеялся:

— На вид — стиляга, официально — активист, неофициально — подпольщик! И впрямь — святая троица!

Константин ответил серьезно:

— Да, я понимаю, в этом есть что-то противоестественное, может быть, даже аморальное...

— Чепуха! — оборвал его Андрей. — Вот я уверен, что ты никогда не предашь, а более ценного человеческого качества я не знаю.

Они пожали руки и разошлись до вечера.

2. Осечка

В десять вечера Андрей сидел на скамейке в маленьком парке на Суворовском проспекте. Сидел, закинув руки на спинку скамьи в позе молодого бездельника, которому даже на прохожих смотреть лень. Чувствовал себя на удивление спокойно. Даже ни тени волнения. За месяц он многократно представлял себе всё, что должно было произойти через час, и была абсолютная уверенность в удаче. За три года ему приходилось осуществлять и более дерзкие операции.

Был теплый июньский вечер. С Невы потягивало

прохладой. Где-то приемник не очень громко выхлопывал итальянские ритмы.

У скамейки, чуть покачиваясь, появился «интеллигент». Посмотрел на Андрея и плюхнулся рядом.

— Млеешь? — спросил он.

— Что? — не понял Андрей.

— Млеешь, говорю?

Андрей враждебно покосился на него.

— Созерцаешь проходящих женщин?

— Точно! — с откровенной злобой ответил Андрей.

— Не ершись! — упрекнул «интеллигент». — Созерцать женщин — самое благородное занятие для мужчины!

— Самое? — переспросил Андрей, явно задираясь.

— Если без похоти, — ответил «интеллигент», не обращая внимания на тон Андрея. — Женщина — это главное чудо мира! Это его самая непостижимая тайна!

— Самая? — сбросив агрессивность, спросил Андрей.

— Тсс! — «интеллигент» наклонился к Андрею. — Смотри! Смотри!

Мимо проходила молодая пара.

— Смотри на нее! На него не смотри! Он глуп в своем самодовольстве. Смотри на нее!

— Смотрю, — согласился Андрей, действительно рассматривая красивую, улыбающуюся девушку, которой что-то нашептывал парень.

— Ну! — накинулся на Андрея незнакомец, когда парочка прошла мимо.

— Ну? — ответил Андрей.

— Что ты видел?

— А ты?

«Интеллигент» отстранился от Андрея, презрительно окинул его взглядом.

— Тупица! — сказал он.

«Надвинуть ему шляпу на нос?» — подумал Андрей, но не шевельнулся.

— Ты сейчас видел улыбку счастливой женщины! — провозгласил незнакомец.

— Ну и что?

— А знаешь ты, что такое улыбка счастливой женщины?

Андрей развел руками.

«Интеллигент» снова пододвинулся к нему.

— Слушай и постигай! Улыбка счастливой женщины — это проявление, это мгновение мировой гармонии! Улыбка счастливой женщины — это осуществление мировой гармонии! Слушай! Люди ломают голову над тем, что такое истина, справедливость, правда... Вот ты знаешь, что такое «правда»?

— Не знаю! — с любопытством усмехнулся Андрей.

— А истина? Во! А ведь хочешь знать! Я скажу тебе!

«Интеллигент» почти повис на Андрее.

— Истина — это улыбка счастливой женщины!

— И всё? — иронически заметил Андрей.

— Всё! — торжественно ответил философ. — Она же есть правда и справедливость! Она же есть и высший смысл бытия! Знаешь ты, почему в мире всё так неладно?

— Не знаю!

— Потому, — палец философа качался у самых глаз Андрея, — потому, что мужчины устраивают мир во имя свое! А всё проще, но и труднее! Мир надо устраивать во имя женщины! И счастливая улыбка женщины — высший и единственный критерий действия!

Он наклонился к самому уху Андрея.

— И революций не надо! Тсс! И на душу населения... не надо!

Он захихикал и закашлялся. Пальцем стукнул Андрея по груди.

— Мы, мужчины, твари, отчужденные от мирового смысла! Выпали, да! Сами по себе! Женщина — в самом венце его! Статистика чем занимается? Чушь! А надо? Провели мероприятие, подсчитали счастливых, сравнили! Плохо? Хорошо? Философы, политики о чем пишут? А надо сравнить и выбирать! А что выбирать и сравнивать?

— Улыбки счастливых женщин! — подсказал Андрей.

— Только! Только! — резюмировал «интеллигент».

— Ну, что ж! Это тоже вариант! — усмехнулся Андрей и увидел приближающегося Константина. — Когда власть потерпит фиаско и призовет тебя на помощь, присоединюсь!

— Циник! — буркнул презрительно тот вслед уходящему Андрею.

С Константином они прошли к концу сквера. Там уже топтался Коля. Андрей взглянул на часы:

— Порядок! Пошли!

Старинный петербургский дом арочной колоннадой выступал к углу, заглотнув тенью кривой треугольник перекрестка. От одиннадцати до одиннадцати тридцати углом прошло человек десять. Не те. Андрей на другой, освещенной стороне стоял как вкопанный, ничем не выказывая беспокойства. Но вот он подал условный знак. Быстро перешел перекресток, и там они заняли позицию, заранее обдуманную Андреем. Когда милиционер поравнялся с ними, Коля и Константин одновременно схватили его за руки, а Андрей в то же мгновение ударил его снизу в солнечное сплетение. Милиционер охнул и повис на руках у всех троих. Андрей рванул френч, рубашку, так что затрещали швы, из-под мышки, из самодельной кобуры выхватил пистолет. Коля и Константин отпустили милиционера,

и он со стоном сполз на тротуар. Андрей сунул пистолет во внутренний карман пиджака, но тут же, вскрикнув, пластом рухнул на спину. Милиционер остервенело выкручивал ему ногу. Андрей завертелся, пытаясь вырваться или хотя бы спасти ногу от перелома.

— Что стоите! — закричал он остолбеневшим напарникам. Они кинулись на милиционера, пытаясь оттащить его, но тот не отпускал ноги Андрея, хотя крутить и перестал. Андрей изогнулся. Рука сама потянулась к пистолету. Перехватив его за ствол, Андрей резко, наотмашь ударил и попал по руке Коле. Коля вскрикнул и отпустил милиционера, который тотчас же воспользовался этим и боднул головой склонившегося Константина. Удар пришелся в челюсть, Константин отшатнулся, оступился с тротуара и упал. Но в это же мгновение Андрей, вновь изогнувшись, рискуя поломать вывернутую ногу и чуть не теряя сознание от боли, наотмашь ударил уже пытавшегося подняться милиционера. Андрей не только услышал, но рукой почувствовал хруст. Дальше всё прошло по плану.

* * *

Встретиться они должны были в пять на квартире. Но в перерыве после второй лекции в коридоре напротив аудитории Андрей увидел Колю. Быстро спустившись по лестнице, у выходной двери Андрей резко повернулся, и Коля, еле поспевавший за ним, чуть не налетел на него. Андрей был в бешенстве.

— Ты зачем здесь! Кто разрешил!

Коля испуганно смотрел на него.

— Ну! — прошипел Андрей.

— Знаешь, — еле выговорил Коля, оглянувшись, сглотнув слюну, — ты... мы... это... в общем убили мы его...

Злость на лице Андрея сменилась угрюмостью. Глядя Коле прямо в глаза, он ответил устало:

— Знаю.

— Откуда? — прошептал Коля.

— Я знал это еще вчера.

Пухлые Колины губы задрожали. Он швыркнул носом, отвел глаза.

— Это я! Понял! Вы ни при чем!

— Да я ничего... — начал оправдываться Коля.

— Кончай! — оборвал его Андрей. — Позвони Косте, что встреча отменяется. Приведите в порядок одежду. Чтоб никаких следов! Если будет что-нибудь новое, — связь через Костю. Никаких встреч!

Добавил уже другим голосом:

— И постарайтесь не хныкать! Духом не падайте! Произошла осечка. Но мы с лихвой искупим! Понял!

Не очень уверенно Коля кивнул головой.

— Всё.

Когда Андрей пожал ему руку, Коля скривился.

— Чего ты, — спросил, нахмурившись, Андрей.

— Руку... Ты вчера мне по ней саданул, — как бы оправдываясь, объяснил Коля. Задрал рукав пиджака и рубашки. Показал: ниже локтя большой синяк. — Трогать больно, — виновато сказал Коля.

— Сходи к врачу, может, трещина.

— Да нет, зашиб просто. Трещина была бы — рукой не шевельнул бы. В детстве было такое... — почему-то радостно затараторил Коля.

— Ну ладно, уходи. Да носа не вешай!

Коля убежал.

Андрей поднялся наверх, зашел в аудиторию, взял тетради. В дверях столкнулся с деканом, но даже не поздоровался, прошел мимо. Декан удивленно посмотрел ему вслед.

На улице долго о чем-то раздумывал. Потом достал деньги, пересчитал. Свистнул проходящему такси. Сел на заднее сидение. У метро «Нарвская» рас-

платился. Нашел свободную телефонную будку, набрал номер.

— Вадим, это я. У тебя есть кто-нибудь? Тогда выйди. Есть время? Порядок.

Вадим появился встревоженный.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего, — спокойно ответил Андрей. — Просто захотел увидеть тебя. Поговорить... надо...

— Ну, слава Богу, — облегченно вздохнул Вадим. — Я не ждал твоего звонка... по крайней мере, сегодня. Подожди, я сбегаю, газ выключу. Отец спит.

— О твоем варианте поговорить хочу, — сказал Андрей, когда Вадим вернулся.

Они пошли переулком в сторону от многолюдного проспекта.

Долго шли молча.

— Вот что скажи, Вадим, — наконец решился Андрей, — как ты со своим вариантом в мире зла жить собираешься? Если я правильно понимаю, он начисто исключает борьбу? Праведность для себя — ведь это самовыключение из неправедного мира? В общем расскажи мне о своем варианте. — И осторожно добавил: — Конечно, если можешь. И что можешь.

С каким-то отчаянием Вадим ответил:

— Боюсь!

— Чего?

— Не со мной бы надо тебе говорить! У меня же всё только в чувстве, я еще не всё словами определил...

— Но я же не прошу обращать меня! — возразил Андрей. — Я просто хочу понять тебя. Говори как можешь. Если и не пойму, — ничего страшного! Я не хочу с тобой спорить. Я хочу только послушать тебя.

— Я попытаюсь, — неуверенно ответил Вадим.

Еще некоторое время шли молча.

— Жизнь ведь ничтожна во времени... Так? Но человеку дано понимание вечности. Откуда? Это же

парадокс... А бесконечность! Можешь ты себе ее представить? Параметры не нашего бытия!

— По Канту шпаришь! — усмехнулся Андрей.

— По Канту? Нет. Едва ли... Я не читал его. Скучно...

Живо повернулся к Андрею:

— А правда? Истина! Мы с тобой сколько эти слова мусолим! Ведь никто не знает конкретно, что это такое!

— Улыбка счастливой женщины! — улыбнувшись, пробормотал Андрей.

— Что? — не понял Вадим.

— Извини, я так... Продолжай.

— Я хочу сказать, что каждый ищет смысла этих слов, но не находит... А ведь в сознании-то нашем есть, понимаешь, есть понятия правды, истины... Они будто даже не в нас, эти понятия, а над нами, а мы только головы задираем, да на цыпочках тянемся...

— Ты гений, Вадик! — весело рассмеялся Андрей. — Платона ты ведь тоже не читал!

Вадим насупился. Замолчал. Андрей взял его за локоть:

— Больше не буду! Мне интересно, честное слово!

Вдруг закрутил головой.

— Подожди минуту.

Подскочил к какому-то парню.

— Есть закурить?

Парень нехотя достал пачку сигарет, небрежно протянул Андрею.

Андрей попросил спички и, не поблагодарив, вернулся к Вадиму. У того даже горло пересохло от удивления:

— Андрей, случилось что-нибудь?

— Нет, — ответил Андрей, затягиваясь глубоко и с удовольствием. — Разве я не имею права вести себя парадоксально?!

Юмора, однако, не получилось, и Вадим с еще большей тревогой смотрел на Андрея.

— Ну, хорошо, — сбивчиво заговорил Андрей, — вечность, бесконечность, правда, истина, добро, зло — параметры чего-то иного, чем мы. Назовем его Богом. Что меняется от этого в нашей жизни?

Вадим пытался было что-то сказать, но Андрей вдруг схватил его за плечо, остановил, заговорил громко и зло:

— А хочешь другую философию! У тебя кошка есть дома? Кошка, говорю, есть?

— Есть, — испуганно ответил Вадим.

— У твоей кошки одна цель — жить. Когда она хочет есть, она мяучит, когда ей холодно, она мяучит. А когда она сытая, что она делает? Мурлычет! А можешь ты мне объяснить, что это такое? В мурлыканье нет жизненного смысла. Это издержки бытия. Так вот слушай, доморощенный Платон, так называемая интеллектуальная жизнь человека, в которую входит и религия, — есть мурлыканье высокоразвитого животного! Мурлыканье! Всё! И ничего больше!

— Что ты говоришь, Андрюша! — крикнул Вадим так громко, что оглянулась проходящая мимо женщина с пучками моркови в сетке. — А разум!

— Разум? — вдруг обрадовался Андрей, словно ждал этого вопроса. — Разум — это шестое чувство самосохранения. У кошки их пять, у волка пять, а у человека шесть. То, что ты называешь разумом, развилось в человеке в связи с выпадом его из общей системы природы, где достаточно пяти чувств. Гипертрофия этого шестого чувства породила так называемую интеллектуальную жизнь, как обжорство порождает жировые наслоения. Жирному тепло, но он может и задохнуться от жира. Так и человек! Да! Именно так! Разум сохраняет жизнь и губит ее! Булка хлеба и атомная бомба — продукт хитрости-разума! Кошка не контролирует свое мурлыканье, оно непроизвольно. Твор-

чество человека — тоже! Спроси меня еще, что такое искусство, и я отошлю тебя к твоей кошке, которая играет с мышью, когда сытая! Хочешь формулировочку? Искусство — это...

— Не надо, Андрей!

— Надо! Боишься! А может быть, я говорю тебе ту единственную правду, которую человек не только боится, но и не хочет знать! О чем я? А! На-ка, проглоти! Искусство — это побочная функция нормально функционирующего живого организма! Каково! Эта функция присуща всем живым существам в соответствии со степенью их развития!

— А поэты, умирающие от чахотки!

Вадим покраснел от волнения.

— Например, кто? — злорадно спросил Андрей.

Вадим растерялся.

— Чахоточники и язвенники, Вадик, занимаются политикой, самым гнусным вариантом мурлыканья! Или тебе еще рассказать про комплекс неполноценности, чтобы ты не вспомнил про слепого Гомера и горбатого Эзопа! Человечество живет по тем же законам взаимопожирания и самовыживания, что и весь мир, идея же Бога, как и все прочие идеи — это опыты коллективного самоконтроля, попытки регулирования взаимопожирания!

Сигарета сама догорела в его руке, он еще попытался затянуться, но обжег пальцы, отшвырнул окурок. Он упал к ногам мороженщицы, она что-то закричала им обоим. Вадим поспешно затянул Андрея за угол, там они свернули в арку большого дома, вышли во двор, остановились. Во дворе никого не было.

Андрей успокоился, снова стал самим собой, в глазах погасла лихорадочность, движения стали сдержанными, лицо застыло в привычной маске твердости и уверенности. Таким знал его Вадим. Почти таким. Что-то новое появилось в глазах «командора». Новое

было тревожным. Не добрым. Иначе не приковывало бы взгляда...

— Понимаешь, Вадик, — уже спокойно сказал Андрей, — я не вижу аргументов против того, что наговорил тебе. Хотел послушать тебя, а разболтался сам... Этот разговор был не нужен вовсе.

Вадим ответил ему с грустной уверенностью:

— У тебя что-то случилось. Серьезное? Не хочешь говорить, не нужно. Только... если это то, что я думаю...

— Ну, — разрешил Андрей.

— Ты остался один...? Я имею в виду твой вариант...

— Нет, я не один, — сказал Андрей, и тон означал, что тема исчерпана. — Я уезжаю. Надолго. Кое-кто из наших, возможно, тоже уедет. Постарайся с ними не встречаться. Так надо.

Вадим робко спросил:

— Чем-нибудь я могу... помочь тебе?

Андрей помолчал.

— Можешь. Новый телефон Ольги у тебя есть?

Вадим торопливо рылся в записной книжке.

— Есть. Записывай.

— Говори.

Вадим вспомнил, что Андрей никогда не записывал телефоны. Это была часть его системы.

Оба они расстались с предчувствием, что виделись последний раз.

Минут пятнадцать стоял Андрей у телефонной будки, пропустил очередь раз пять. Затем вошел. Набрал номер. Телефон Ольги был занят. Он повесил трубку и пошел прочь.

3. Телефоны

Прошло пять дней. На шестой вечером в квартире Константина зазвонил телефон. Сначала его никто не услышал, так было шумно. Потом девица в голубом платье пропищала:

— Костик, да телефон же!

Константин вышел в коридор. Снял трубку. Вяло ответил.

— Костя, это я, привет!

— Коля?

Обрадованный, что узнан, Коля захихикал.

— У тебя ничего?

— Ничего, — ответил Константин.

— У меня тоже... всё тихо.

Коля покашлял в трубку. Разговор не клеился.

— Знаешь, я сидел, сидел в своей комнате, что-то тошно стало.

— Откуда звонишь?

— Из будки. На углу которая. Я тебе помешал?

— Да нет...

Коля усиленно сопел в трубку.

— Слушай, Кость, если я спрошу, ответишь честно?

— Спрашивай, — сказал Константин, вздохнув.

— Ты... это... ну... ведь презираешь меня? Да?

— Чего? — изумился Константин.

— Ты не отпирайся, Костя! Я знаю! И вообще, это правильно...

Константин закричал в трубку:

— Ты чего там мелешь! Выпил?

— Нет! Честное слово, нет! — заоправдывался Коля. — Ты только подожди, не бросай трубку, я хочу сказать, поговорить... по-другому-то ведь не получится, по телефону только... А я не выпивал, честное слово! Мне нельзя выпивать, у меня язва двенадцатиперстной кишки... Спирт только можно немного.

А где его возьмешь... Дорогой... А вина нельзя, сразу кишки резать начинает... и острого ничего нельзя... огуречный рассол, например, вкуснятина, а нельзя.

Коля тараторил.

— У тебя язва? — рассеянно спросил Константин. — Я не знал...

Наверное, никто не знал.

— Слушай, Костя, — продолжал Коля торопливо, словно боялся, что не успеет сказать, что его не дослушают... — Знаешь, я думал, что не люблю тебя! Правда! Я так думал! А вот сегодня сидел и понял, что я просто завидовал, как самый последний подонок завидовал... Я тебе всё скажу, понимаешь, мне надо сказать... Помнишь, юбилей наш отмечали, ты колбасы принес, я такой в жись не видел... сервилат называется. У меня потом всю ночь кишка болела, я еще выпил тогда... за юбилей... И я тебе завидовал... У тебя костюмы всякие... и я тоже завидовал. Я когда один, учился говорить, как ты, ну так, с юмором, у меня ничего не получалось, и я тоже завидовал... Ты этого не знал, но ты презирал меня... и правильно! Я подонок... был...

— Подожди, Коля, подожди! — пытался остановить его Константин, стараясь справиться с чем-то досадным в себе, что появилось захватило, жгло...

— Нет, нет, я еще не всё... Когда Андрей вариант свой сказал, я испугался, но я назло тебе согласился... Нет, не так... Я думал, ты не пойдешь. Я себе сказал: «Он не пойдет, а я пойду!» А ты тоже... Мне, честное слово, стыдно! Потом ты говорил, что в комнате свинство... Это ты правильно. Человек всегда должен быть аккуратным, но ведь, понимаешь, я еще в кочегарке работаю, сорок восемь часов в неделю. Накидаешься лопатой, придешь, руки не поднимаются, и зубрить надо... Не, я не оправдываюсь... то есть я пытаюсь оправдаться, чтоб ты понял... Знаешь, я решил, если всё... ну... пройдет хорошо, я по-новому

жить буду! У нас теперь неизвестно как будет, так я решил... чтобы на душе чисто было, вот...

Он снова засопел в трубку.

— Ты всё сказал? — голос у Константина дрожал. — Теперь я скажу. Слушай! Ты отличный парень, понял! А я всего-навсего пижон! Сытый пижон! Я не презирал тебя, но я был хамом! Если всё пройдет, мы будем друзьями! Ты веришь мне? Алло!

— Кость! Что мы натворили! А!

Эта фраза прозвучала так, что у Константина мурашки по спине пробежали.

— Да, — глухо ответил он. И вдруг впервые отчетливо понял весь смысл случившегося, и еще — что не обойдется! Что с того вечера жизнь его поделена надвое, и в середине — пропасть. И возврата нет! Еще ему показалось, что на том конце провода очень близкий ему человек, очень нужный ему человек...

— Слушай, Коля, — сказал он торопливо и взволнованно, — давай приезжай ко мне! Хватай такси и езжай! Есть у тебя на такси?

Коля сопел.

— Не надо, Костя.

— Почему? Чего ты?

— Всё будет не так. По телефону лучше. Давай лучше еще поговорим!

— Зря ты! Я бы всех разогнал, и посидели бы вдвоем!

— А кто у тебя? — спросил Коля с детским любопытством.

— Да гости... Три девицы высоких папаш, несколько перспективных аспирантов и один известный музыкант...

— Ух ты! — восторженно прокоментировал Коля. Затем застонал: — Вот видишь, я опять завидую! А чего они делают?

— Сейчас? Сейчас одна дева, закатив глаза, нашептывает Пастернака.

— Декадентка? — спросил Коля серьёзно.

— Нет, — пояснил Константин, — ей замуж нужно.

— Конечно, чего одной-то жить!

— Что? — переспросил Константин.

— Я говорю, понять можно. Каждой женщине детей охота иметь, и чтоб семья...

— Коля, у тебя есть враги?

— Какие враги? Если... ну, ты же знаешь...

— Нет, личные враги, я имею в виду. Есть кто-нибудь, кого ты ненавидишь?

Коля недоуменно хмыкнул.

— Не знаю... Мне зла никто не делал... Больше сам по глупости всегда...

— А девушка у тебя есть?

Коля замолчал. Константин с грустью сказал:

— Как же так получилось, что мы три года дружим и ничего не знаем друг о друге?

Коля молчал. Потом сказал печально.

— Ну, пока, Костя!

Тот испугался.

— Ты что, Коля! Обиделся...

— Нет, нет, — залопотал он, — замерз, в рубашке выскочил. Я еще позвоню, Костя!

— Звони! слышь, обязательно звони!

— Ну, пока...

Телефон запищал. В гостиной известный музыкант играл Шопена.

* *
*

В тот же вечер и в то же время состоялся другой телефонный разговор.

Вадим долго пробивался к Ольге. Телефон был занят. Наконец, ответила.

— Бессовестный, — сказала она ему грустно.

— Оля!

— Конечно, я знаю. Я всегда была для тебя приложением к Андрею. А перестав ею быть, перестала существовать! Через полгода чего же ты вдруг вспомнил обо мне?

Чертовски неприятная правда была в ее словах.

— Мне нечем оправдаться! — сказал он очень искренне.

— Поздравь меня, Вадик, я кончила училище.

— Поздравляю!

— Спасибо. Еще поздравь.

— Ну?

— Я поступила в консерваторию.

— Ты молодец, Оля!

— Видишь, как удачно и счастливо устраивается моя жизнь! Так что же ты позвонил мне? Впрочем, можешь не говорить, я знаю.

— Не знаешь.

— У Андрея что-то не так? Ему плохо? Верно?

У Вадима язык отнялся. Она горько усмехнулась.

— Вы почитаете себя сложными, многоплановыми натурами, вы носитесь со своей сложностью, как... Господи! У вас же всегда одна и та же константа — эгоизм! Ну, говори же, эгоист, что случилось с твоим другом, эгоистом трижды и без предела!

Она говорила спокойно или старалась говорить спокойно. И всё же Вадим чувствовал, что разговор ей не безразличен. Так и должно быть, он ведь много знал! Но как сказать ей и что сказать!

— Ты права, Оля, ему плохо. Но, конечно, я звоню по своей инициативе.

— Ясное дело! Андрей умеет подбирать чутких друзей!

— Не нужно так говорить о нем, Оля, ты...

— Но можно! — перебила она его. — Андрей — дурной человек! Да! Молчи! Я имею право это говорить! Ну, подумать только! Как много вокруг лучше него, мизинца которых он не стоит! Сколько добрых

и благородных людей, любить которых — было бы счастье, твердое, уверенное счастье! Почему же всё так дурацки устроено в жизни? Ты умный и рассудительный, скажи, почему? Впрочем, скажи лучше, что с Андреем!

— Кроме того, что ему плохо, я ничего не могу тебе сказать. Поверь, я сам не знаю!

Она ответила ему с досадой:

— Раньше ты не лгал, Вадим!

— И сейчас не лгу. Я больше не посвящен в его дела. Кое-что изменилось...

— Разругались?!

В голосе был испуг.

— Нет. Я не могу тебе объяснить, но мы не ругались. Я видел его пять дней назад. Ему было плохо. Он попросил твой новый телефон. Но ты не звонила мне, и я понял, что он тебе тоже не звонил.

— Почему я должна была звонить тебе? — удивилась она. — Ну, конечно, ты прав! Я позвонила бы тебе, чтобы узнать хоть какие-нибудь подробности, ведь от него я бы ничего не услышала! «С женщиной говорят о любви, когда любят, и ни о чем, когда равнодушны. О делах не говорят никогда!» Это тебе знакомо?! Демагог проклятый! Сколько горя он мне принес! Вадик, милый! Скажи, за что ты ему так предан? Ведь он никого не любит! Он, если держится за кого, так только пока тот дышит его воздухом!

— Нет, не так! — горячо возразил Вадим. — Я задам тебе тот же вопрос, за что ты его любишь до сих пор?

Вадим ясней ясного увидел ее лицо и слезы на глазах. И не ошибся. Слезы были в голосе.

— Не знаю! Не знаю! Он измучил меня! Я во сне сколько раз хлестала его по щекам! Но он и во сне мучил меня, и я во сне разбивалась об него, как о стену! Он ни разу не приснился мне улыбающимся или ласковым! Знаешь, Вадим, я уже думала, что может

быть, это не любовь, а вариант неврастении. Я к психиатру ходила, Вадик! Он высмеял меня, — такой же толстокожий чурбан! Чего же ты хочешь от меня! — вдруг почти закричала она. — Чтоб я пошла к нему, чтоб он снова чванился передо мной, а потом прогнал! И ты такой же! Только прикидываешься добрым! Разве это не жестоко, звонить мне, когда я, быть может, только в себя пришла?! И всё снова? Разве не жестоко толкать меня на унижение! Как ты можешь! Ты такой же, как он! Эгоисты проклятые!

Она бросила трубку на стол. Вадим слышал ее рыдания, молча кусая губы.

Прошло больше минуты. В трубке зашуршало.

— Прости, Вадик! Я становлюсь кликушей.

Она всхлипывала, шмыгала носом.

— Оля, я всё понимаю, но, честное слово, я почему-то уверен, что рано или поздно у вас будет всё хорошо...

Она отвечала, всё еще всхлипывая.

— Поздно хорошо не бывает! Поздно — значит поздно... Это только плохо! Боюсь, что поздней уже некуда! Я не пойду к нему, не проси! Будь он проклят!

Вадим говорил мягко, но убежденно.

— Оля, таких, как Андрей, мало. Я лично не знаю никого. Когда-нибудь ты это поймешь. И еще я знаю, что он любит тебя.

— Нет, Вадик, — устало ответила она, — он никого не любит. И меня. Я бывала ему нужна... и всё. Я не пойду к нему!

Вадим помолчал.

— Хорошо, не ходи. Но обещай мне, что если он придет сам, ты будешь терпелива! Поверь, я знаю его много лет. Таким видел впервые!

— Все только о нем и о нем! А на меня тебе наплевать!

— Ну, не нужно так! — уговаривал он ее. — Я к тебе очень хорошо отношусь! А что не зво-

нил, ну, ты только подумай сама, что мог я сказать тебе?

— Что? — с обидой закричала она. — Что сказать! Да хотя бы, что он жив, что здоров, что не попал под трамвай, не подрался с милиционером, что его не выгнали из института, что он есть на свете еще, подлый он человек! Сказать тебе нечего было! Эх, ты!

И она бросила трубку.

* *
*

К Константину пришли утром, назавтра после Колиного звонка. Отец с матерью уже уехали на работу. Немного позднее Константин подумал, что в этом смысле ему повезло. Он не увидит их шока.

Пришли пятеро. И еще понятые. Предъявили ордер на арест и обыск. Константин держался спокойно. Оказалось, что он внутренне готов... Покоробило, когда обшаривали, когда рылись в личных вещах, в бумагах. Когда осматривали сервант, уловил недобрую ухмылку в лице сотрудника. Признал ее справедливой. И действительно, к чему семье из трех человек семь наборов рюмок и бокалов! И все прочие сервизы! И фарфор в бессмысленном количестве...

Битком набитый холодильник тоже вызвал хмурое движение бровей. Вполоборота к Константину один спросил его:

— Чего не хватало? А?

— Птичьего молока! — ответил другой, шаривший в гардеробе.

В этот момент Константин позавидовал Коле. Тот при обыске сможет спокойно смотреть всем этим в глаза. Подумал: «Как Коля? Тоже уже?» Удивился, что его совсем не интересует, как до них добрались. Еще оказалось, что другого исхода он и не ожидал. В каком-то смысле даже будто легче стало.

Подумал об институте, как о чем-то очень далеком в прошлом. Мир словно замкнулся этой комнатой, где сновали чужие, враждебные люди, за стенами же словно пустота образовалась и отделила его от всего прочего, потускневшего, помельчавшего, ставшего чужим. Из окон доносился шум уличного движения, но воспринимался, как падающая звезда, без всякого отношения к нему, Константину, тоже не то уже не живущему, не то спящему, не то бредившему наяву... Взглянул на часы. Захотелось их остановить. Но остановить нельзя. Пружина должна раскрутиться до конца. Подумал — разбить? Бравада! Вспомнил, что у Коли часов не было. Он надоедал, спрашивая время. А в столе лежали еще одни часы — подарок отцовского друга-сослуживца. Стыдно стало. Да! Ему было бы совсем спокойно, если бы не это ощущение стыда, что возникало с каждым воспоминанием. Подло жил? Может быть, не подло — легкомысленно! Как канарейка!

— Отвечать надо, когда спрашивают! — раздался над ухом грубый голос.

— Слушаю вас, — спокойно ответил он.

— Документы где? Паспорт?

Константин пытался сосредоточиться, вспомнить, где может быть паспорт.

— Под вазой, наверное...

Он, забывшись, поднялся, чтобы достать...

— Сидеть!

Он сел. Улыбнулся:

— Зачем же вы спрашиваете? Если обыск, так ищите!

Старший подошел к нему, сказал тихо:

— Вам бы воздержаться от остроумия. С уголовным кодексом знакомы?

«Причем здесь «уголовный»? — подумал Константин. — Другого-то, наверное, и нет».

— Вы можете сейчас дать показания. Сами написать. Очень советую. В ваших интересах.

«Господи, как пóшло!» — подумал он. Усмехнулся:

— Не надо.

— Ваше дело. Подумайте о родителях! Известные люди!

И в это время зазвонил телефон!

Константин даже головы не повернул. Зато все пятеро уставились на него. Тот, старший, подскочил к нему, наклонился, схватил за плечи, зашипел:

— Парень, это твой единственный шанс! Другого не будет! За убийство — вышка! Шанс, говорю! Бери трубку, если это твой соучастник, зови сюда, говори — срочно чтоб приехал! Понял! Единственный шанс! Если жить хочешь! Ну!

Он рывком вырвал Константина из кресла, почти потащил к телефону. Константин не сопротивлялся. Он как-то не мог понять, что от него хотят, что ему надо делать. Не мог сосредоточиться... Поднимая трубку, надеялся, что это не Андрей. Но это был Андрей.

— Привет, Костя!

— Здравствуй! — ответил он.

Нос к носу с ним сотрудник. Глаза горят, ноздри раздуты, губы облизывает. Шипит:

— Ну! Ну! Он? Да? Зови, чтоб приехал! Сюда!

Больно сжимает плечо.

— Зови говорю, сукин сын!

«Ишь ястреб! Добычу почуял!» — подумал, глядя на него, Константин и услышал:

— У тебя всё в порядке, Костя?

— В порядке, — ответил он машинально и почувствовал, что краснеет.

— Коля должен был приехать и не приехал. Не знаешь, в чем дело?

— Нет.

Он вдруг стал задыхаться. Стало жарко до невыносимости. На лбу выступил пот, рубашка на спине стала мокрой.

— Ты спал, что ли?

Еще одно «нет» сказал Константин. Все пятеро сотрудников висели над ним.

— Ну, ладно, — продолжал Андрей, — я тебе вечером еще позвоню. Дома будешь?

— Буду.

И вдруг, спохватившись, неестественно громко:

— Подожди... слушай... Я арестован! У меня обыск!

Трубка вылетела из его рук. На запястьях щелкнули наручники. Его протащили через всю комнату и швырнули в кресло. Он больно ударился боком о подлокотник.

— Щенок! Ты подписал себе приговор! — как-то без особой злобы, но не без досады, сказал старший. Константин посмотрел на него и тоже не почувствовал злобы, потому что какая-то небывалая радость вошла в душу и словно вымела из нее всё, что тошнотой стояло там, и голова закружилась, и всё как-то поплыло, не уходя, не исчезая, но будто на сторону свешиваясь, будто на бок сваливаясь, будто опрокидываясь навзничь и в то же время оставаясь неподвижным, беззвучным и бестелесным... Потеха! Он падал в обморок!

4. Личный вариант

Рыжие вихры Павла Андрей заметил сразу, как только с лестницы свернул в коридор. Он прошел мимо него, чуть кивнул, и Павел понесся за ним, не скрывая радости, но всё же соблюдая конспиративную дистанцию. Они зашли в пустую аудиторию. Павел долго и возбужденно тряс руку Андрея.

— Просьба к тебе, — коротко сказал Андрей.

Павел будто не слышал.

— Это здорово, что ты зашел! Здорово! Я думал, ты вообще... Я все эти дни думал... Я придумал другой вариант! Мы такое дело сделаем! Не нужно будет убивать! Они сами стреляться начнут! Слушай, я тебе сейчас всё расскажу...

Андрей нахмурился.

— Подожди. Мы обсудим твой вариант... Завтра...

— Это недолго! — горячился Павел. Он раскраснелся, кудри его, почти красные, разметались по лбу, он суетился, дергал Андрея за рукав.

— Паша, — еле сдерживаясь, процедил Андрей, — мне сегодня некогда. Завтра мы встретимся и обсудим. Завтра!

Павел сразу сник, погрустнел.

— Я всё продумал... — продолжал он еще по инерции.

— Просьба у меня к тебе! — повторил Андрей.

— Конечно! Конечно! — заторопился он, — ты же знаешь, я всегда... Хорошо, что ты пришел...

— Мне нужна машинка. Отпечатать одно заявление. Сейчас надо!

— Сейчас у нас сопромат... — начал Павел, но встретился со взглядом Андрея.

— А, плевать! Поехали! Двадцать минут — и у меня! Чаю попьем!

— Поехали, — сказал Андрей и добавил: — По пути никаких разговоров!

В метро Андрей поймал себя на том, что всё время оглядывается. Стало противно. Взял себя в руки, но напряженность не уходила. Теперь она стала частью его жизни. Теперь она до конца! До конца! Конец! Скоро конец! Слово произносилось, а смысл его ускользал, кожей улавливался и морозил, а от сознания рикошетом... Зато мысль работала четко, ясность была удивительной! Он всё рассчитал на сто ходов

вперед! Он никогда еще не был так уверен, что всё произойдет точно по его плану! Даже конец! Хотя он еще не знает, что это такое!

Когда пришли, Павел засуетился было на кухне, но Андрей сказал категорично:

— Паша, ты сейчас вернешься в институт, еще успеешь на второй час. Я захлопну дверь. Завтра увидимся.

У Павла опустились руки. Был он жалок. Но Андрей не испытывал угрызений совести, когда врал ему о завтрашней встрече. Он знал, что никогда уже не увидит больше Пашку. Что ж! Он многих больше не увидит! Они его тоже не увидят! Значит, он с ними со всеми на равных. Если он будет тратить время и чувства на сантименты, то не выполнит план, его просто не хватит на главное. Павел должен уйти и не мешать ему.

Андрей протянул руку. Сказал, как мог мягче:

— До завтра, Паша! Не дуйся! До завтра!

— Ага! — грустно ответил Павел. Был он отчего-то бледен, все веснушки выступили на лице и отмолодили его до мальчишества. В глаза Андрею не смотрел. Он впервые не верил Андрею. Если бы Андрей был чуть мягче, если бы не торопился, как всегда, он многое сказал бы ему, объяснил, просто излил душу! Но он, Павел, не нужен Андрею! Ему нужна лишь услуга! Ну, что ж! Пусть так. Он не будет навязчив! И всё же! Как можно так легко рвать связи нескольких лет искренней дружбы!

Но руку Андрею пожал горячо.

— Извини, — сказал он, — если что...

Так говорят, когда прощаются навсегда. Андрей понял это. Искренне ответил на пожатие.

На машинке работал минут двадцать. Конечный вариант выглядел так:

Приговор

Совестью своей приговариваю Колганова Михаила Борисовича, в отставке подполковника Комитета Государственной Безопасности за преступления против человечности, совершенные им в период с 1932 по 1953 гг., за пытки и истязания людей, за насилия и издевательства, за попрание человеческого достоинства, за злоупотребление властью

к смертной казни.

Приговор привожу в исполнение собственноручно.

Чуть помедлив, Андрей ниже отстукал свое имя и фамилию. Поставил число и время, то время, в которое назначено было умереть Михаилу Борисовичу Колганову, персональному пенсионеру, когда-то верному ученику обрусевшего поляка по имени Феликс Дзержинский, человека, деятельностью своей затмившего славу всех прочих героев на подобном поприще.

У него было в запасе двадцать минут. Он шел по Невскому. Внутренний карман оттягивал тяжелый пистолет ТТ. Он ощущал его не просто как тяжесть, он лежал у него на самом сердце, и Андрей сердцем чувствовал его.

Однажды, десять лет назад, он уже испытал нечто подобное. Но тогда в его кармане лежал комсомольский билет.

Матерью, сельской учительницей, был он воспитан идеалистом, с верой во всё, во что полагалось верить. Вера была красива, у нее были прекрасные слова, дела ее со страниц школьных учебников и популярных книжек казались подвигами героев древних мифов. Радостно до одури было сознавать, что живешь во время, когда свершился и продолжает свершаться смысл всей истории! Даже будущее казалось менее интересным, потому что оно походило на конец истории: оно выглядело величественно, но немного

скучновато, и он, Андрей, великодушно уступал другим поколениям жить в этом фантастическом будущем. Себе же он оставлял настоящее, где еще столько перспектив героического, а на меньшее он не готовил себя! На меньшее не готовила его мать, бывшая рабфаковка, однажды приласканная Калининым, однажды видевшая Сталина — «вот как тебя вижу», — однажды выступившая по всесоюзному радио о займе государству.

Однажды пережив причастность к «великому делу», всю свою дальнейшую жизнь она прожила под гипнозом этого причастия. Она оставила мужа, когда не обнаружила в нем должной порции одержимости. Разрыв с мещанином-мужем или мещанкой-женой тогда были воспеваемыми подвигами. Она пошла дальше, она почти прекратила отношения со своими родителями, крестьянами уральской деревни, не оценившими великой мудрости вождя в крестьянском вопросе.

Сама лишь едва причастившаяся, сына своего она готовила к великой причастности. Его вступление в комсомол было обставлено с торжественностью самого знаменательного семейного праздника, на который были приглашены предварительно проинструктированные о поведении дед с бабкой, однако не оправдавшие надежд своей дочери, не проявившие должного энтузиазма по поводу их приглашения. С тех пор она больше не отправляла сына на лето к старикам.

Внук же едва ли был способен уловить такие тонкости, поскольку полностью был поглощен созерцанием своей первой причастности...

Отсутствие такого же энтузиазма в среде своих сверстников воспринимал болезненно. Он мечтал попасть в Москву или Ленинград, где, как он был уверен, живут одни сознательные, где революционный пафос не может угаснуть, потому что там живут вожди, их можно видеть воочию и слышать, там

каждый дом и каждый камень — свидетель начала и продолжения...!

Уже в те годы уверенность в себе была его главным качеством. И шагая мощеной улицей рабочего поселка, он тогда твердо знал, что будет в Москве или Ленинграде, что именно там начнется его настоящая жизнь, путевкой в которую была маленькая книжечка, что лежала у него на сердце как часть его...

Теперь он шел главной улицей легендарного Петрограда с пистолетом у сердца, уже убивший человека, готовый убить еще одного и на этом поставить точку своей жизни, несуразной, необычной, но всё же последовательной!

Прав он или нет — не ему судить! Но, что есть ему оправдание, такое чувство было, и оно в веселую, лихую злость превращало каждую мысль, грозившую сомнением.

Радостно было за Костю, оставшегося верным до конца, и за остальных тоже была радость, потому что ни в одном из них не ошибся. Была и гордость! Его друзья — это дело его рук и его воли. Он представлял себе лицо каждого в те минуты, когда виделся с ними в последний раз, и воспоминания вызывали нежность и любовь, и это было единственным, что осознавалось утратой, когда думал о конце. Но о конце старался не думать. Не думал и о милиционере. За эту ошибку он расплатится жизнью, самым ценным, что у него есть, и если и не исправит тем самым, то зачеркнет...

Иногда он машинально, а может быть, специально касался рукой пиджака в том месте, где чуть-чуть выпирала рукоятка пистолета, и тогда реально ощущал готовность ее ребристых граней довериться ладони...

А встречные и обгонявшие его ничего не знали! А если бы узнали, — как бы шарахнулись в стороны, какой бы мертвый круг пустоты образовался вокруг

него. Чтобы люди узнали тебе цену, нужно оказаться в мертвом круге. Маленькая, дешевая истина! Но вот он идет по многолюдной улице, идет словно под шапкой-невидимкой... Нет, он не страдает от безызвестности, просто невидимость холодит, разделяет до отчуждения, до враждебности. Она подкапывает основу основ — целесообразность! Это она заставляет дрожать голос, когда ему уготовано быть набатом, это она сводит мускулы пальца, когда он ложится на спусковой крючок, это она, единственно она, может у смелого человека вывернуть грудь наизнанку, и человек вместо груди показывает спину!

Было что-то обидное и грустное в той чуждости, с которой проходили мимо него люди и обгоняли его. Подумалось, что случись вот такой улицей идти целый день, то к вечеру, возможно, и усомнился бы в своем варианте! Но восторжествовала бы не истина, а слабость. От слабости не застрахован никто!

Вот у него еще есть один пункт, излучающий слабость. Это Ольга! Но — табу! Слава Богу, он вполне овладел способностью контролировать мысль! Его мысль была покорной, тренированной и способной собакой. Этому научили его иоги. Ненужную мысль он мог наотмашь отхлестать по морде, и она, скуля и свертываясь клубком, уползала в темноту конуры. Нужная работала как борзая по следу, и он часто не без самодовольства наблюдал почти как бы со стороны ее работу...

Вот и сейчас, в оставшиеся свободные минуты, он может позволить себе немного сентиментальности, но без злоупотребления. Потому Ольги на свете нет, хотя пусть она где-то живет, но на свете есть мать, хотя она не жива.

Сейчас ему очень полезно вспомнить тот день, когда он примчался домой по телеграмме и застал мать, разбитую параличом, недвижную, немую.

— Ну что, слышала про Сталина? — спросил ее за день до того на улице подвыпивший парень-шофер, бывший ее ученик.

Андрей знал мать. Ее мог разбить паралич от одного обращения на «ты».

— Выходит, всю жизнь ты брехала, учителка! И гроши за то справно получала! Ткнул вас Никита мордой об стол! Степаныча-библиотекаря ты на север упекла? А он человек был, не то что ты — граммофон!

Мать умерла через неделю. На ее могиле при всем народе катался по земле и рвал на себе рубашку парнишка-шофер, бывший ее ученик.

Андрей не поднял на него руки. Но и взгляда не дал ему в облегчение.

Под именем Андрея в Ленинград вернулся другой человек, настолько другой, насколько вообще возможно человеку измениться разом!

Тогда выстелилась перед ним та дорога, что сейчас проходила по Невскому, вела к метро, затем к Финляндскому вокзалу, оттуда до станции Лемболово, где жил на своей даче персональный пенсионер, подполковник КГБ в отставке.

В шесть часов с пунктуальностью маньяка выйдет он в сад с лейкой пожарного цвета в руках и начнет поливать искусные клумбы вокруг дома, осматривая каждую и каждый цветок на ней, чмокая губами, приговаривая что-то, покачивая головой, морщась и сутулясь... Сегодня он польет только три клумбы. На четвертую, что ближе к забору, он упадет, чтобы самому уже больше не подняться. Последними впечатлениями его на этом свете будут боль и аромат пионов. Второго он не заслужил! Непозволительная роскошь — такому человеку умирать под аромат пионов! Но даже самый отъявленный негодяй имеет право на последнее желание! Таков обычай предков, и не стоит его нару-

шать! Пусть же пионы зачтутся ему как последнее желание!

Вот так это случится. И никто уже никогда не узнает, о чем думал этот человек за минуту до смерти, что думал он о своей жизни, думал ли он вообще в жизни? И если верно, что перед смертью человеку видится вся его жизнь, то не умер ли он скорей положенного от этого видения? Узнать такое было бы очень важно! Может быть, даже важнее, чем его смерть! Но это невозможно! И потому он рухнет лицом вниз на клумбу с красными пионами, и таким же красным пионом расцветет смерть на его белой рубашке.

На выстрел выскочит из дома рыхлая пожилая женщина и, увидев мужа, завопит страшным голосом: «Уби...и...ли!», но вместо того, чтобы кинуться к мужу, пытаться поднять его, растормошить в отчаянии, она закричит: «Спасите!» и еще быстрее влетит в дом, громыхая затворками и защелками...

Последнее — было единственным отклонением от того, как всё представлялось Андрею. И это хорошо! Когда планы осуществляются до мельчайших подробностей, оно, конечно, бальзам самолюбию, но скучновато.

Было случайное желание пальнуть ей вслед, как бы спросить выстрелом: «Чего же ты испугалась, старая карга? Как же ты тогда жизнь свою прожила, если за себя боишься, кукла распатланная!»

Суматоха, наверное, началась скоро. Но Андрей уже этого не услышал. Через семь минут он был на платформе, через пять минут сел в вагон электрички и через сорок минут уже стоял около каменного броневика, с которого вот уже сорок с лишним лет каменный человечек произносил всё одну и ту же речь и никак не мог окончить ее, и рука его окаменела в жесте и каменные слова камнями застряли в горле...

Андрею было бы что спросить у этого человека! Но план есть план. У него не было времени на лирические отступления. Его ждал большой дом на улице Каляева, чудовищная крепость из бетона, куда он должен войти сам, собственной волей, и не выйти из нее уже никогда.

В том месте полвека назад человек его возраста и, может быть даже внешне похожий на него (могло же такое быть!) сделал то же самое, что и он — убил человека. Убил и умер сам! Его именем назвали улицу те, кто унаследовал его дела. А он, Андрей, сегодня убил одного из этих наследников. За это они убьют его. Но никакая улица не получит его имя! У него нет наследников. Круг замыкается! И размыкается одновременно! Тупая бессмысленная последовательность! Он сам подключился к ней и тем самым оставил последнее слово им, его врагам!...

...А с какой стати!

Эта мысль ошарашила его у самых дверей большого дома. С какой стати он преподносит им себя в подарок! Кого он хочет удивить жестом? Но, стоп! Там его друзья! Там Константин, Коля, может, и Павел с Вадимом! Он должен быть с ними!

Но поздно! Он запнулся о сомнение, он уже балансировал, он уже не мог сохранить равновесие. Не было теперь силы, которая заставила бы его перешагнуть порог. Другая сила, незнакомая и гнетущая, несла его прочь, не позволяя ни остановиться, ни оглянуться, ни одуматься! Та самая лихорадочность, что целый день гоняла его по инстанциям тщательно продуманного плана, рвала в клочья его остатки. Андрей вдруг осознал себя мятущимся и мечущимся, рассеянным и растерянным. Он не знал себя таким, он боялся себя такого! Он вскакивал в трамваи и выскакивал из них, он сновал по переходам и эскалаторам метро, два раза машинально купил мороженое и выкидывал, потому что отродясь не ел его...

Но это была еще не вся мера расплаты за сомнение. Подкрадывался страх. Сначала была фраза: «Пусть они попробуют взять меня!» Тут же вылупилась другая: «Легко не дамся!» И тогда змеей выполз страх! Страх попасться глупо, даться легко! И тогда город превратился в его врага. Каждый прохожий потенциально был враг. А что он сможет сделать здесь, в трамвае или в метро, в этой толкучке у витрин и переходов! В городе он как в клетке, в которой пока еще не захлопнулась дверка!

Прочь из города! Как можно скорей, как можно дальше! Чтобы быть готовым в любую минуту! На Урал, к деду! Там они не смогут появиться незаметно! Там он им всыплет на полную! Немедленно на Московский вокзал! Тотчас же! Пока не перекрыли пути! Пока не начали розыска! А может быть, уже и начали! Долго ли продержатся ребята! Не выстоять им на допросах! Где им против этих знатоков своего дела!

Он бросился к метро, но опомнился. Нет денег. Была минута полной растерянности. Но потом сработала память. Сработала она со скрипом, с экивоком к совести, как-то нечисто сработала! И номер телефона набирал трижды. Сбивался. Путал цифры. Господи! Что же это с ним такое!

* * *

Полчаса до прихода Андрея Ольга терзала пианино. Старенький инструмент надсадно и как-то испуганно грохотал на несколько этажей вверх и вниз...

Злость на себя переполняла ее, злость туманила сознание, злость кипела на кончиках пальцев и заражала клавиши, и они тоже бесновались в рычании аккордов, и гармония знакомых звуков искажалась гримасой злости.

Она ненавидела себя! Презирала себя, захлебывалась от отвращения к себе! Боже! Сколько она ждала

этого звонка! Как тщательно она приготовилась к нему! Тысячу раз были отрепетированы ответные фразы, ювелирно отточена тональность голоса, даже выражение лица, которое бы он не увидел, и оно было продумано и готово к его звонку! Звонков было много, и каждый раз она подходила к аппарату во всеоружии. И этот долгожданный звонок не был неожиданным. Но только задрожала рука, стало шумно в голове и плохо слышно, она вынуждена была переспросить и... сбилась!

Она готовилась уничтожить его, испепелить презрением, она мечтала бросить трубку, чтобы его оглушили короткие сигналы отключенного телефона...

Он спросил: «Ты будешь дома?» Она не поняла от волнения. Переспросила. Он повторил и сказал: «Я через полчаса буду». И она неожиданно промямлила: «Ладно».

Самоуверенный наглец! Прошел почти год! Она могла выйти замуж и родить ребенка! Он же сообщает ей, что придет, как будто только вчера вышел из ее квартиры! Он уверен, подумать только! уверен, что она ждет его и будет ждать сколько угодно. И он может позвонить ей, когда ему вздумается: через год, через два, через десять... Паршивец! Он и через десять лет позвонит ей как ни в чем не бывало, и сообщит, что через полчаса придет!

Уйти! Пусть у него отсохнут пальцы на звонке! Почти рванулась со стула. Мысленно рванулась, накинула плащ, погасила свет, хлопнула дверью, нырнула в лифт, из лифта в темноту улицы...

Но представить его униженного, обескураженного у беззвучной двери пустой квартиры фантазии не хватило. Еще в спину можно было представить: вот он стоит, высокий и строгий, и нажимает кнопку звонка... и все! Его же лицо... Оно все так же насуплено, строго и... властно!

Смешно! Женщины упорно добиваются равнопра-

вия! Они уверены, что оно нужно им как воздух! Но вот мужчина, хорошо, если мужчина, а то мальчишка, хмурит брови — и в сердце тысячелетняя мука!

Она не справилась с ним по телефону. От встречи она уже не ожидала ничего хорошего, о встрече она уже не думала. Она только корчилась от презрения к себе, и была обида на весь мир, на жизнь свою обида, на себя обида и за себя обида!

Когда раздался звонок, необычно резкий и оглушительный, она упала головой на клавиши, и пианино ахнуло надрывно и сочувственно дребезжало еще столько, сколько буравил дверь звонок. Когда же звонок смолк, она кинулась к двери и открыла ее, не колеблясь.

Он вошел... такой же и не такой... Тот же был на нем пиджак, те же брюки. Даже рубашка была ей знакома. Все на нем чисто, глажено. Будто видом своим доказывал, что не нуждается в женщине. И все же он изменился. Сначала, в первый момент она не поняла, в чем перемена. Потому что не могла взглянуть в глаза. Когда взглянула — сжалось сердце.

Глаза его всегда бывали строги, холодны и проницательны. Этот букет принято считать признаком сильного человека. Она знала, Вадим и какие-то другие мальчишки бегают за ним, как собачонки. Она знала, в него влюблялись и влюбляются наивные деревенские девчонки и пресытившиеся богемой, жаждущие остренького блекнущие городские девицы.

Она же никогда бы не влюбилась в него, если бы только это видела в его глазах. Но она умела и любила ловить в его демонстративно холодных глазах выражение какой-то необычной тоски. Как иногда в новой и путаной мелодии, бывает, вдруг один аккорд, а то и один звук, подголосок внезапно приоткрывает тайну мелодии и, отталкиваясь от этого намека, постепенно начинаешь чувствовать созвучность всей мелодии какому-то такому же непонятному своему

состоянию. И тогда эта музыка становится необходимой, хочется слушать и вслушиваться в нее, потому что она рассказывает о тебе что-то, чего ты сам о себе не знаешь, а лишь догадываешься. В человеческих отношениях это называется родством душ. Родство — не похожесть. Похожесть раздражает и отталкивает. Это смежность душ, соприкосновение, может быть, даже не в самом главном, но в чем-то глубоко интимном. И тогда бывает чудо: разные, как небо и земля, двое соединяются навсегда!

У них этого не произошло. Потому что только один из них смотрел в глаза другому: она. И что еще обиднее, он и на себя смотрел так же поверхностно и равнодушно, как на других, он и в себе видел только то, что было очевидно сходу. Разве знал, он, например, что когда по-обычному хмурится, когда уверен, что в данную минуту гнев есть суть его состояния, разве он знал, что глаза его в этот момент, не всегда, но часто бывают печальными изнутри и не подчиняются мимике, словам и жестам, и будто наблюдают за всем этим, как за чем-то внешним, для них необязательным, им чуждым...

А еще в его глазах часто бывала жажда. И тогда она боялась за него. Или его боялась. Страх этот был непредметным, он не имел слов, его нельзя было объяснить. Но именно в такие минуты она ему прощала все и раскаивалась в прощении позже, когда забывала его взгляд, потому что его нельзя было запомнить, потому что это был лишь нечаянный намек на что-то такое в этом человеке, что ей недоступно и несмежно и, значит, навсегда непонятно...

Он поздоровался тихо и сухо. Прошел в комнату, сел в кресло.

— Кофе? — спросила Ольга, чтобы собраться с мыслями и осознать впечатление, которое он произвел на нее.

— Можно, — равнодушно ответил Андрей.

Она ушла на кухню и, суетясь у газовой плиты, наблюдала за ним, не боясь встретиться с его взглядом, потому что сидел он в своей любимой позе, раскинувшись в кресле, уставясь в абажур настольной лампы. Он говорил ей когда-то, что синий цвет действует на него магически, приятно парализующе, что он успокаивает его.

И хотя глаз его видно не было, она уверилась, что первое впечатление не обмануло ее. Он изменился. Что-то изменилось в нем. Ничто не свидетельствовало о том, что ему плохо. Да она и не знала, что значит «плохо» для Андрея. Неприятности в институте? Дела институтские никогда его всерьез не затрагивали. Он ни с кем никогда не ссорился. Он просто рвал с людьми, вычеркивал их из сознания. И если переживал при этом, то не очень.

Плохо ему было однажды, когда умерла мать. Это было давно. Иногда ей казалось, что это «плохо» стало его постоянным состоянием. Но он никогда, ни до, ни после смерти матери, не говорил о ней что-либо, кроме общих фраз. Не чувствовалось даже особой привязанности к ней. Но с тех пор он изменился. Ей казалось, что к худшему. Мелкие неприятности, наверное, бывали у него. Бывали, наверное, и радости. Но в поведении своем он всегда оставался постоянным, однозначным...

Сегодня внешне — все как обычно. Но она почувствовала сразу: что-то произошло. Ей даже показалось, что сегодня он расскажет о себе все, что скрывал, о чем умалчивал. Ей показалось, что сегодня случится в их отношениях тот поворот к пониманию, которого она ждала годы и не дождалась. Незаметно для себя она снова соблазнялась надеждой, и как не бывало ненависти, обиды, злости... «Баба!» — вздохнула она про себя.

Налила кофе и села против него. Он сделал глоток,

нахмурился, как всегда, если находил кофе слишком горячим. Она даже чуть не улыбнулась, так знакомо было ей это непроизвольное движение бровей.

Он поставил чашку. Откинулся в кресле и впервые взглянул на нее. Лучше бы уж не глядел! Ничего хорошего этот взгляд не обещал. В нем была тревога, — но увы! не о ней! — В сущности, он отсутствовал. Искорка надежды погасла и превратилась в льдинку, в крохотный кристаллик, который вызывал озноб.

— По отношению к тебе я, пожалуй, был негодяй, — сказал он, глядя ей прямо в лицо. Сказал, как говорят между прочим о погоде и прочих пустяках.

— Пожалуй, — ответила она тон в тон ему, готовясь к чему-то худшему, к чему-то совсем плохому. А уж, казалось, давно была готова ко всему.

— Ты вправе меня ненавидеть.

Он разрешал ей ненавидеть себя, и она ответила:

— Спасибо!

Он не обратил внимания на издевку.

— И все же мне не к кому обратиться, кроме тебя.

Он играл на ее душе. Одна фраза, и она снова полна любви и готовности. Хотя бы вот так быть нужной!

— Я должен уехать. Сегодня. Но у меня нет денег.

— Сколько? — спросила она слишком торопливо, но ей уже было наплевать, лишь бы не потребовалось больше, чем у нее есть!

Он нахмурился и молчал.

— Сколько нужно денег? — спросила она осторожно и так сочувственно, что это проняло его, и он даже рукой по лбу провел, будто убедиться хотел, что морщины строгости действительно распались...

— Немного. Но... Не в этом дело...

Он встал и заходил по комнате. Он нервничал. Он сильно нервничал! Таким она его не помнила. Что же произошло?!

— Я не смогу вернуть тебе деньги. Никогда не смогу…

Она не поняла. Мелькнула мысль: «Бежит за границу!» Нет, это на него не было похоже!

— Ты уезжаешь навсегда? — спросила она, не скрывая отчаяния.

— Да! — ответил он почему-то грубо.

Она не поняла этого тона. Она поняла только, что это действительно конец, и она, давно приговорившая свою глупую любовь к неудаче, оказывается, к самому концу все же не была готова.

— Сколько нужно? — спросила она еще раз.

Он назвал сумму. Эти деньги у нее были. Она взяла сумочку с окна, достала деньги, пересчитала и отдала ему.

— Спасибо! — буркнул он, и она поняла, что он сейчас уйдет.

— Подожди! — сказала она, хотя Андрей пока ничем не проявил намерение уйти. Она кусала губы. Она не могла его отпустить. Как бы ему плохо ни было, — ей было хуже. Эта несправедливость вызывала желание уравнять боль… Но говорила не то…

— Вадим сказал, что ты любишь меня…

Андрей встрепенулся, ей даже померещился испуг в его глазах.

— Вадим? Ты видела его? Когда?

— Он звонил вчера. Сказал, что ты взял мой телефон… Я ждала…

Ничего этого не нужно было говорить. Она подошла, встала рядом. Он не поднял головы. Он думал о чем-то… не о ней.

— Андрей, — сказала она мягко и тихо, — понимаешь ли ты по-настоящему, что ты плохой человек?

Он помолчал, ответил так же, не поднимая головы.

— Я допускаю это.

— Ты не любил и не любишь меня? Так ведь?

Он поднялся чужой и недоступный.

— Оля, теперь все это не имеет никакого значения!

— Для тебя! — она захлебывалась от обиды. — А для меня, как думаешь?

Как он взглянул на нее! Еще секунда и она бросилась бы ему на шею! Но он сказал:

— Мне нужно идти. Я хотел бы расстаться с тобой хорошо.

Она отшатнулась. Ей казалось, что она падает.

— Может быть, ты все-таки объяснишь что-нибудь! Неужели я этого не заслужила!

Она не узнавала своего голоса. Это был не голос, а скулеж...

— У тебя неприятности? Да? Ну, давай уедем! Я продам квартиру! Уедем далеко! Но только вместе! Куда хочешь!

Он как-то странно и нехорошо усмехнулся.

— Что ж, это тоже вариант! Только теперь он уже невозможен, если раньше был только неприемлем.

— Я ведь аборт сделала, Андрюша!

Лишь полное отчаяние могло выдавить из нее эту фразу.

— Аборт? — переспросил он удивленно и вдруг резко схватил ее за плечи, тряхнул.

— Аборт! Ты убила моего ребенка! Ты! Ты! Дрянь!

И он буквально бросил ее на пол. И казалось, сейчас растопчет, но только повторял:

— Убила ребенка! У меня мог остаться сын... или дочь... Убила!

Он смотрел на нее, как на отвратительное чудище, и она, полулежа на полу, боялась пошевелиться и даже не чувствовала боли от ушиба.

На его лице было горе — такое огромное горе, что она, будто очнувшись, подползла к его ногам, обхватила их, захлебываясь от слез, залепетала:

— Андрюшенька, милый, я ведь не знала... ты же ушел... ты бросил... ты ни слова... Андрюшенька...

Он поднял ее и продолжал держать за плечи, но взгляд его стал еще страшнее: теперь это был взгляд покойника или смертельно раненного, это был взгляд неживого человека.

— Андрюша, у нас еще будут...

— Нет! — перебил он ее. Взглянул на часы. — У меня пятнадцать минут. Я не умею за пятнадцать минут делать детей!

— Что ты говоришь! — закричала она, вырываясь.

— Как ты могла?! — сказал он глухо.

— Я! Я могла? А ты что, младенец? Ты не знал, что могут быть дети? Ты когда-нибудь подумал об этом? Ты обо мне подумал когда-нибудь? Ты еще обвиняешь меня? Ты смеешь?!

Она упала в кресло и затряслась в рыданиях. Какие-то слова прорывались, но она сама их не слышала. Она вцепилась себе в волосы, сдавливая виски, она почти билась головой о подлокотник кресла, она задыхалась.

— Уйди! — вырвалось, наконец, у нее. — Уйди! Пусть тебе будет так же плохо! Пусть!

Слезы ослепили ее, и она не видела, когда он встал у кресла на колени. Он целовал ее руки, ее мокрые руки и говорил:

— Я люблю тебя! Я вернусь! И все будет снова! Все будет не так! Прости меня!

Позже, через несколько лет, ей, наверное, покажется, что не стоял он на коленях, не целовал ее рук, не говорил этих слов, что ничего этого не было, что он ушел, не попрощавшись, и она сама в истерике вообразила всю эту сцену, потому что, если бы ее не было, как бы смогла она выжить...

В окне проносилась, проплывала, пролетала и растворялась в далях Россия.

Казалось, к этой серой и молчаливой земле неприменимо название столь звучное, как боевой клич, как зов походной трубы. Слово это воспринималось, как что-то в прошлом, совсем немного в настоящем и ничто в будущем.

Или казалось, что существуют две России: одна в сознании — красивая и неясная, как мечта, другая, как прототип мечты со всеми атрибутами прототипа. Проплывали селения, в селениях жили люди, думалось же о них, как об иностранцах... Даже не верилось, что говорят они на том же языке... Еще страшнее было представить иностранцем себя, страшнее, потому что очень правдоподобно...

Какой жалкой мышиной возней представлялась ему отсюда вся его деятельность в Питере, и все эти муки душевные и поиски, и споры, и принципы, ради которых ломались и создавались человеческие отношения, ради которых перекраивались судьбы, ради которых даже убивали людей...

Железная дорога, бегущая к Уралу и дальше Урала, в Сибирь и дальше Сибири, куда дальше, кажется, уже и невозможно, дорога эта представлялась бездонным колодцем, уходящим в глубину России не только пространственно, но и во времени. Казалось, не километры от центра отсчитывает поезд, а года прочь от настоящего времени к какому-то временно́му постоянству, которое и раньше и теперь, и всегда, но по отношению к ним, людям столиц, всегда за их спиной, всегда им чужое.

В темноте вообще было реальное ощущение, будто в колодезном ведре летит он вдоль колодезного сруба с бешеной скоростью вниз, и стук колес был вовсе не стук колес, это громыхал вал над колодцем,

с которого раскручивалась бесконечная веревка, еще вчера державшая его наверху, под самым козырьком солнца, где он виден был себе сильным, нужным и правым, в полном убеждении, что нет ему надобности вглядываться в темноту сруба, потому что он в самом венце смысла всего, что под ним...

Нет! Всё не так! Он догадывался и ранее об отсутствии смысловой связи между его жизнью и судьбой того существа, что именовалось Россией. Объяснением этому мог быть только факт бессмысленности бытия одного из двух. У него никогда не хватило бы смелости отказать в смысле тому, что было в мире до него и будет после. Но тогда следовало бы признаться в том, что он просто наломал дров в горячке и спешке, и потерять при этом право распоряжаться не только своей жизнью, но и смертью. ...Потому остается одно: он не понял России. Поспешил, спалил себе крылья и превратился в земноводное, которому остается одно — кусаться и умереть под щелканье собственных челюстей...

А она все мелькала и мелькала в окне, Россия — многообразная и однообразная до отчаяния. Россия, в которую рекомендовалось «только верить» и не тратить времени на познавание умом. Но умом не понять только безумного! Должен же быть какой-то постигаемый смысл в бессмыслице полувека! Каким вдохновением уловить его! Ведь жизнь у каждого одна, она коротка и дорога каждому! Вот он, Андрей, разменял ее на безумство, которому песню — увы! — никто не споет! А если вдуматься, то безумство храбрых это всего лишь храбрость безумцев! И если быть беспощадным к правде, то как не признать, что, поднявшись с пистолетом против стоглавого дракона, он в бунте своем храбр от отчаяния, от бессилия, от страха перед неспособностью к чему-то большему, чем безумство!

И всё же! Маленький, крохотный кусочек подлости, что цементом легла на стыках общества, он отколол и создал, пусть ничтожное, но все же беспокойство этому мурлыкающему от самодовольства дракону! Хотя бы на одном квадратном сантиметре бесконечного болота он создал волнение ценой самого дорогого — жизни! Разве величина ставки не оправдывала бессмысленность!

И потому хотелось еще стрелять и стрелять, и чтобы не смолкал грохот выстрелов, чтобы видеть смятение и страх на лицах, застывших в маске бездумия, заплывших, опухших равнодушием, чтобы взломался ритм слепоты, чтобы автобусы втыкались в тротуары, с треском разлетались витрины, чтобы переворачивались вверх колесами черные лакированные и бронированные персоналки, и оттуда вылезали на четвереньках те, кто еще минуту назад держал на четвереньках человеческие души. Чтобы проспекты превратились в грохочущие тупики, а на одном из этих тупиков — он, Андрей, с пистолетом в руке, а по левую сторону и по правую сторону от него — соратники, радостные и одержимые, и знамя над ними... красное...

Андрей недоумевает, почему оно красное, но другим представить его не может... и он громко стонет во сне, так громко, что сосед по верхней полке, солдат-отпускник осторожно трясет его за плечо...

* * *

Его дед, семидесятилетний старик, никак не мог взять в толк, за какое добро послал ему Бог внука, которого он уже не чаял увидеть. Он суетился по избе, кряхтел, охал, ахал и млел, глядя на светловолосого красавца, очень даже похожего на другого, что висел на стенке под стеклом с Георгием на груди. Таким он был сам полвека назад, и сохли девки по нем, как

осинки подрубленные! И барышни в кружевах, образованные и беленькие, глупели, когда он подмигивал им, и пухлые вдовушки грустнели, глядя на него! И сам Брусилов, обходя строй, остановился напротив и по плечу хлопнул! Может, правда, и не Брусилов, но что генерал — точно!

Когда сели вдвоем (Андрей просил никого не приглашать) и чокнулись стаканами, не связывался разговор, и потому тут же налили по второй. Помянули покойников, мать и бабку, которая так и не увидела внука взрослым. Старик блестел глазами. Да и Андрей тоже. После третьей — другое дело! Дед разговорился, вспомнил гражданскую, взятие Бугуруслана, ранения свои, госпитали... Потом, как землю дали, как робко делили ее, чужую... Первый урожай на этой земле! Как в город ездили на своих лошадях за обновками, в каких нарядах девки загуляли в деревнях... Как стало потом тускнеть мужицкое счастье, когда закатилась звезда нэпа, и появилась в деревнях матросня да фабричные с наганами по брюхам. И плакала землица, и скотинка, что народиться успела, плакала... Как потрошить начали мужицкие избы, как подводы с раскулаченными заскрипели по заоколицами с ревом баб да ребятишек! И началось строительство этого самого социализма, который, конечно, всему человечеству мечта, да только на горбе крестьянском выращенная! А про то ни у кого сознания нет, и уважения крестьянскому труду молодежь не признает, как несознательное будто это сословие есть... А что ни денег, ни паспортов в глаза не видывали, кому дело да интерес! Перетасовали народишко с разных сторон, забыли как землю охаживать требуется! Церкви для нужды устроили — Бога-то по науке, сказывают, быть не может!

— А веришь в Бога? — спросил Андрей.

— Сомневаюсь я, что Его нету вовсе, и причины тому сомнению имею, да тебе того не понять!

— Какие причины-то? — настаивал Андрей.

— Ну, вот хотя бы, кто у нас шибче всех раскулачивал? А были братья Санька и Пашка Крюковы. Я про нашинских говорю, а что приезжих да нерусских полно было, то само собой! Братья эти по молодости кулачниками да охальниками были. После гражданской партейными обернулись. Уж и погуляли они по хозяйствам нашим! И что?! Саньку Кузьма Банников из винта хлопнул, а Пашку свои же на север упекли, где и сгинул без вести! Опять же Кузьма Банников в Саньку пальнул, а когда огородом, своим огородом, заметь, домой вертался, в старый колодезь угодил, да так, что и помучиться не успел! Вдрызь головой об камень! Вишь, всякое зло расплату имеет! А как она оборачивается, расплата, без Бога ежели? Али Кузьма своего огорода не знал, в колодезь сподобился! В своего пальнул — и разум помутился!

— Так ведь этот «свой», наверное, заслужил?

— Чего там! Совсем бешаный мужик был! Никто не горевал! Да только в своего палить, нешто добро! Ночью, как тать! Трах — и дёру! Не бывало у нас такого! И чтоб в свой колодезь падали, тоже такого никто не помнил. Так что кто-то, внучок, надо думать, над нашими душами есть, и следит он за нами, и за шкирку потаскать может, ежели что... И воле всякой предел установлен!

— А предел подлости людской? Как насчет этого? — хмуро вставил Андрей.

— Все есть, — философствовал дед печально. — И горе, и страдания, и болезни... Только дано человеку лекарство, что посильней всего будет — терпение!

— Ага, — буркнул Андрей, — Бог терпел и нам велел!

— Совет тебе хочу дать, внучок! Хитрый совет! — Он вместе со стулом пододвинулся к Андрею, налил самогону из графина. Андрееву бутылку они уже приделали. Привалился боком, держа стакан на весу. —

Не богохульствуй попусту! Тебе ведь от этого радости нет! А хрен его знает, может, Он и есть где-нибудь там...!

Ткнул стаканом вверх, расплескал самогон. Андрей посмотрел в потолок, сказал вяло:

— Там никого нет. Пустота да материя мертвая.

— Кто его знает! — с сомнением протянул дед. — Внутрь надо смотреть, наскрозь чтобы...

— Как? — не понял Андрей.

— Внутрь, говорю. Ты вот, что есть? Тварь с двумя руками да с двумя ногами. А ежели внутрь тебя взглянуть?

— Внутри у меня кишки, дедушка!

Андрей стукнул стакан деда и выпил. Перекосился, начал жевать капусту прошлогоднего посола. Дед смотрел на него разочарованно.

— Глуп ты еще! Хоть и образованный! Конечно, если человека шашкой на куски скромсать, то кишки увидишь. Не про то нутро толкую! В том нутре душа у тебя, до нее шашкой не доберешься!

— А если шашкой до кишок добраться, что от души остается?

Андрей весело подмигнул деду, уходя от скучной темы. Не тут-то было!

— Допустим, мешал тебе человек. Ты его шашкой али пулей. Лежит он пред тобой бездыханный! Твой стало быть! Получил ты его мощи. А душу? Душу-то получил? Шиш!

— Добрый у тебя самогон, дед!

Дед радостно подмигнул.

— Понравился! Завтра еще накапаем! Не ждал ведь я тебя!

И вдруг прослезился.

— Мамка твоя, дочь моя, значит, Царствие ей... конечно, и, можно сказать, святая была, но сердцем жестокая! Где это видано, чтобы внука от стариков прятать! Стыдилась она нас, темноты нашей стыди-

лась. Не понимала, что свет наш в мозолях! Старуха моя покойная тяжело рожала ее, больше детей Бог не дал. Почитай, прожили мы жизнь без детей! Весточки от дочки на переводах получали. В деньгах она аккуратная была! День в день! Завидовали нам! Только старуха каждый раз плакала, как деньги приходили... Глупая была...

Он рукавом вытер глаза. Андрей обнял его.

— Дочь свою не осуждай, дед, несчастная она была!

Дед испуганно вскинулся.

— Да нешто я осуждаю! А про несчастность, это как посмотреть! Жила она верой своей, а в вере люди несчастными не бывают! Дай Бог тебе веры такой!

— Какой веры! — зарычал Андрей. — Во что верила моя мать?! В кого верила? В бандита?

— Но! Но! — нахохлился дед. — Ты не очень-то! Какой он ни есть, при нем порядок был! И люди свое место знали! Людям строгость нужна, а без строгости нынче вон в колхозах работать некому! Каждый свое гнет... Сам себе начальник!

Андрей заскрипел зубами, кулаками сжал виски.

— Что ты говоришь, дед! Какой порядок! Ты же только что рассказывал про этот порядок, как наизнанку вывертывали вас! А про тюрьмы и лагеря ты слышал?! Бандит был тридцать лет у власти! Понимаешь! Бандит! И порядок был бандитский! И законы были бандитские! Дед! Да разве вас не стригли, как овец?! Вы же для него и всей этой шайки рабочим скотом были!

— Это ты брось! — дед смотрел на Андрея сердито, исподлобья. — Это кто, может, другие скотом были, а мы в скотах не ходили! Мы — Россию кормили! А что всяко бывало, так где это жизнь без горя? Может, в Америке? Так мы с тобой там не были и знать не можем, какие у них свои беды! Бандит, говоришь! А в тридцатом кто меня в подкулачники

записал? Сталин? Да сосед мой, Прошка Федотов! А за что? А побил я его вожжами по пьянке! Причем тут Сталин? А гусей да курей отбирать — был такой закон? Не было! А у моей старухи петуха прямь из-под подола вытащили активисты наши! А кто им за это по шеям надавал? Знаешь? Никитка-сельсоветчик после того как запил, так и помер от запоя, а до того по деревне козырем ходил, наганом махал да плевался скрозь зубы! Я тебе так скажу: ежели б каждый свою подлость придерживал, так и половины горя в народе не было!

— Это все, что ты помнишь? — с глухим отчаянием спросил Андрей.

Дед обиделся.

— Чего я помню, того в голову тебе не вместить! Много воли вам дали для разговору! А в колхозе работать некому! Всех на чистенькое тянет!

Он еще ворчал. Андрей сидел, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону, и вид у него был такой несчастный, что дед, спохватившись, вдруг умолк, заморгал смущенно, заерзал на стуле.

— Ну, чего ты! Чего! Если что не так говорю, зачем близко к сердцу класть! Какой с меня спрос! Жизнь моя прошла, и каждому свою жизнь жалко... Ну! Внучок!

Он схватил стакан Андрея, наполнил, осторожно тронул внука за рукав.

— Выпьем, а?

Андрей поднял голову, повернулся к деду. Смотрел в его бесцветные слезящиеся глаза, пытался прочитать в них что-то подсознательное и подлинное, что непременно должно быть там, но видел только старость. И еще увидел в них жажду человеческой ласки! Вспомнились глаза Ольги. Удивился тому, что у молодости и старости могут быть одинаковые глаза...

Он обнял деда так крепко, что тот почти захрустел

костями, но будто не заметил этого, и весь обмяк и приник к плечу внука. Язык отнялся у старика. Он теребил рукав Андрея и сопел ему в ухо.

Потом они допили остатки и только тогда навалились на закуску, что наскоро была сготовлена дедом и состояла из капусты, картошки, огурцов да рыбы соленой неизвестного наименования. Дед несколько раз пытался оправдаться за скудость закуски, но Андрей активностью челюстей изображал, к полной радости старика, искреннее удовольствие и демонстрировал аппетит здорового человека, здоровье которого пропорционально потребности в пище, простой и обильной. Потом, отдавшись хмелю, они пытались что-то спеть, но Андрей не смог подпеть деду ничего, кроме «По диким степям Забайкалья», да и то один куплет...

Дед готов был продолжать трапезу до бесконечности, но Андрей чувствовал себя так скверно, что вынужден был огорчить старика и попросился на сеновал, хотя тот приготовил ему великолепное, пышное ложе на своей древней супружеской кровати.

* * *

Было еще совсем светло, хотя солнце зашло. В сторону заката открывался с сеновала чудный вид на уральские просторы. Проселочная дорога из района зигзагами подбегала к деревне, прокатившись по широченной деревенской улице, втиралась в берег тихой речушки и, петляя в перелесках вместе с ней, исчезала затем в темноте дальних лесов.

С хмеля очень даже легко было представить себя летящим низко над землей, а если смотреть вперед, в алую даль заката, то кажется, что она приближается, и вот-вот догонишь солнце и ворвешься в день... Но день отступал на запад, туда, откуда Андрей бежал так поспешно и откуда ожидал скорой развязки.

Можно было посчитать сном все случившееся, а отсчет пробуждения вести с этого момента, когда он лежит на сеновале и всматривается в закат... Он проспал целый день... Надо придумать, почему проспал... Потому, что прогулял ночь с девушкой. С Ольгой. Ольга живет не в Питере, а в деревянном доме с крашенными ставнями на том конце деревни. И она не пианистка, а... библиотекарь деревенский. Можно ей быть и дояркой, но лучше библиотекарем... Питера не было! Не умирала мать! Она внизу, в комнате, она сейчас готовит ужин и вот-вот позовет его к столу. А он не студент, а тракторист или шофер. Недавно Ольга дала ему почитать книжку о народовольцах, о покушениях на царя. И после приснился ему сон-кентавр, где в главной роли он, Андрей! Он прожил за несколько часов жизнь и пережил душевную муку целого поколения. Он вступил в конфликт с государством и ему предстояло погибнуть в неравной и бессмысленной борьбе. Но он проснулся! И хотя кошмар сна еще будоражил сознание, на душе уже было легко и просто.

Он не герой и не борец, он обычный деревенский парень, жизнь его проходит разумно и радостно. И он всей судьбой неразрывно вписан и в эти перелески, и в этот закат, и в запахи земли, мягкие и живые. Он — нужная часть всего, что вокруг, всё ему откликается пониманием и родственностью и, просыпаясь утром, он приветствует мир, молодой, как и он сам, и бросает вызов миру-сверстнику прищуром глаз и хрустом кулаков. А в каждом его движении и в каждом действии — смысл, созвучный смыслу всего мира...

Он не спускается по лестнице с сеновала, он прыгает с трехметровой высоты и бежит к колодцу. Обливает себя ледяной водой, ахая и задыхаясь внезапной упругостью тела, вытирается длинным махровым полотенцем, а потом, накинув его на шею, идет в дом, где его встречает мать, молодая, красивая и строгая. Она делает ему выговор за ненормальный режим и

прогоняет одеваться. Когда он садится за стол, она подходит к нему сзади и обнимает за плечи. Рука ее вдруг натыкается на что-то твердое на груди сына. Она с тревогой заглядывает ему в глаза, а он сам, встревоженный не менее, вынимает из кармана пиджака пистолет... В глазах матери застывает ужас, и она навзничь падает на пол. Андрей уже знает, что ее разбил паралич...

* * *

Было около пяти часов утра третьего дня его пребывания у деда. Андрей проснулся от чужого звука. Еще ничего не зная об этом звуке, он лишь приподнял голову и взглянул на часы. Потом подтянулся к краю сеновала. Вправо по улице в узкий проулок между огородами въезжала машина «Бобик». Она вползла за плетень. Там остановилась. Заглохла. Из-за плетня вышли четыре человека и цепочкой направились в его сторону. Не доходя двух домов, они разделились. Двое пошли дальше прямо, двое других, видимо, решили пройти огородами. Они вошли в калитку ближнего дома и там начали «бег с препятствиями» через огородные плетни, приближаясь к дому деда.

«Быстро они добрались до меня», — подумал Андрей, и, кажется, других мыслей не было. Мыслей не было. Была тоска. Пистолет уже в руке. Он и не заметил, когда достал его. Те, что шли прямо, были уже около ворот. Сейчас Андрей не видел их. Щеколда поднялась и некоторое время висела в поднятом положении. Затем ставня ворот скрипнула и подалась внутрь. Двое вошли во двор. Он мог перестрелять их сверху без труда, но почему-то не решался взорвать утреннюю тишину, точно совершил бы этим тягчайшее преступление. К тому же он не обнаружен, и это сомнительное преимущество так не хотелось терять!

Тут он представил лицо внезапно проснувшегося

деда, и мысль о нем хлестнула по лицу. Зачем он приехал сюда? Еще одна глупость в цепи бессмысленности всех его действий. На этот раз граничащая с подлостью! Теперь, случись бы и чудо, он не хотел жить!

Двое уже стучались в дверь сеней. Дед, видимо, с их очередного похмелья прошлым вечером спал крепко, не по-стариковски. Андрей выглянул в щель крыши сеновала в другом конце и увидел тех, что шли огородами. Увидел на мгновение, они уже скрылись за домом, подбираясь к окнам. Он вернулся на свое место, снял пистолет с предохранителя, и свесившись с площадки сеновала, спросил резко и громко:

— Чего надо?

Его окрик был воспринят стучавшимися, как пинки под зад. Они шарахнулись от двери, у обоих в руках пистолеты. Не такие, как у него — меньше. Один назвал его фамилию.

— Я, — ответил Андрей.

— Бросай оружие! Дом окружен! Слазь!

Чекист говорил не очень уверенно, потому что именно на него был наведен пистолет Андрея. Их же пистолеты смотрели очень неопределенно вверх, лишь в сторону Андрея, но, может быть, и мимо.

— Я сдамся при одном условии, — спокойно ответил Андрей. — Если вы сейчас же без шума вернетесь к машине. Я подойду туда же вслед за вами!

— Не валяй дурака! — зарычал второй. — Бросай пистолет и слазь!

Он при этом сделал какой-то странный жест левой рукой. Андрей понял его чуть с опозданием, когда услышал шорох на другой стороне сеновала. Ему заходили в спину. Лестница была именно с той стороны. Не поворачиваясь полностью, Андрей выстрелил в ту сторону и оглох от выстрела, так он был громок, резок и внезапен. Двоих у двери тут же смело за дом, и одновременно два выстрела отбросили Андрея в глубь сеновала.

— Шуметь, так шуметь! — подумал и выкрикнул Андрей и пальнул в обе стороны.

Выстрелы уже не казались грохотом. Они уже нравились ему. Но он вспомнил, что осталось всего три патрона, а тех четверо, и от сознания, что против четырех он бессилен, стало тоскливо и жаль напрасных выстрелов... Он вдруг превратился в кошку! Он ползал от одного конца сеновала к другому, в узкие щели пытался высмотреть своих врагов, но их видно не было. Зато на крыльце соседнего дома, на противоположной стороне улицы, да и везде, где улица просматривалась, уже сновали люди, заспанные и испуганные, но не могущие побороть любопытства. И еще он увидел бегущего к дому деда. Тот, оказывается, давно встал и куда-то ушел, а теперь бежал к дому, скорчившись и подволакивая ноги.

В воротах навстречу ему выскочил чекист, схватил его за руки, и будто невзначай прикрываясь им, потащил деда в сторону, размахивая пистолетом в свободной руке и крича:

— Все по домам! Здесь опасный преступник! Он вооружен! Все по домам!

И он выстрелил вверх над ухом деда. У деда подкосились ноги, и он с вывернутой рукой повис на плече чекиста, который, все так же прикрываясь дедом, затаскивал его за дом.

Андрей высунулся сверху и закричал:

— Ты, сволочь, оставь деда! Не смей!

Дед увидел его. Челюсть у него отвалилась, глаза выкатились, он вдруг начал хватать чекиста за ту руку, в которой был пистолет, и прежде чем они исчезли из поля зрения, Андрей успел увидеть, как дед обмяк на руках чекиста от удара в живот...

Люди вокруг вроде бы и разбегались и в то же время появлялись то тут, то там, и те, кому удавалось увидеть Андрея, показывали на него рукой, что-то кричали, прятались и высовывались снова.

— Последний раз говорю, сдавайся! Все равно возьмем!

Андрей не выдержал и выстрелил на голос. В ответ прозвучал залп. Андрей закричал:

— Слушайте вы, подонки! Вы привыкли, чтобы перед вами ползали на коленях, вы привыкли хватать людей, как мышей! Попробуйте, возьмите меня! Я первый стреляю в вас! Но скоро вас будут взрывать, давить машинами, бросать под поезда! Преступники — это вы! Вас научат бояться, сволочи!

Еще когда кричал, появилась мысль сдаться. Будет суд. Пусть его приговорят к расстрелу, но на суде он скажет им все, что знает и думает о них! Кто-нибудь будет на суде! Кто-то запомнит его слова!

Но тут он вспомнил рассказ одного выжившего, но в свое время приговоренного к расстрелу клиента того подполковника, которого он убил в Лемболово.

Андрей представил, как после приговора захлопнут на его руках наручники и отведут в камеру смертников. Ему предложат написать помилование. А вдруг он не выдержит страха смерти, вдруг сломается! Но если и устоит, потом его выведут в нужное место, зачитают приговор, а может, и не будут зачитывать, — просто кто-то выстрелит ему в затылок и затем спокойно проделает контрольный выстрел в висок, а врач, оттянув веки, засвидетельствует смерть на протоколе «приведения в исполнение».

Нет! Такого удовольствия он им не доставит! Андрей подполз к краю сеновала. У него в запасе один выстрел. Хотя бы одного, да он уложит, заберет с собой! Но вдруг испугался. Останется один патрон! А если он промахнется и только ранит себя! Нет! он не может рисковать! Да и что проку — одним гадом станет меньше? А сколько их! Бессмысленно!

Он начал шептать имена всех, кто был когда-то дорог ему, боясь забыть кого-то, не вспомнить! Дед, Ольга, Костя, Вадим, Пашка, Коля, мама... мама...

На этом память его забуксовала, и лицо матери заслонило все лица, и он уже больше никого не мог вспомнить. И слово «мама» звучало в мозгу помимо его воли, и губы его шептали, и стократным эхом повторяла его мысль, он даже видел это слово написанным большими буквами на школьной доске и на листке бумаги, и отдельно буквами, висящими в воздухе... Он всунул ствол пистолета в рот, но это было так противно — во рту отвратительный вкус сгоревшего пороха, ствол горячий и кислый. Его затошнило! Он выплюнул дуло, приложил его к виску, но представил свой изуродованный, разнесенный череп, и стало дурно. Он испугался, что может потерять сознание! Тогда он вывернул пистолет дулом к себе, подставил его туда, где ощущалось биение сердца, чуть привалился на пистолет телом, чтобы не откачнулось дуло при нажатии на спуск. Положил на спуск палец левой руки и так оставался минуту или чуть более без единой мысли, без единого побуждения в душе. И, лишь словно убедившись в наступившей пустоте и готовности, нажал на спуск.

Вынув обойму из его пистолета, чекист с удивлением рассматривал оставшийся патрон.

— Как думаешь, — обратился он к другому, — почему он оставил один патрон?

Тот, не повернувшись, пожал плечами.

— Забыл, наверно.

ПОСЕЩЕНИЕ

Недавно попал мне в руки документ, автором которого, как предполагают, был один провинциальный священник, умерший всего лишь год назад. Характер документа таков, что я не решился передать его куда-нибудь, но и умолчать о нем оказалось выше моих сил. Я слукавил. Я написал рассказ. И тем самым снял с себя всякую ответственность!

* * *

В сельской церкви уже час назад закончилась служба, но священник, отец Вениамин, только что направился домой. С одним из своих прихожан обсуждал он важный вопрос — смену церковной ограды, поскольку нынешняя, стоявшая с незапамятных времен и без конца подправлявшаяся, совсем прохудилась. Разговор шел потому о столбах и штакетнике, о краске, то есть о цвете, какой приличествует ограде Божьего храма. Понятное дело — голубой. Но в магазинах только желтая да красная. Значит, переплата! Отец Вениамин перебирал бородку, мужичок чесал в затылке. Наконец, договорились по самому хорошему: ограда ставится бесплатно, а на штакет да на краску подкинуть надо с запасом. Договорились...

И после этого отец Вениамин все равно не торопился домой, оттягивал что-то...

Всем знакомо, как это бывает: делаешь что-то, суетишься, суетишься, но знаешь, что как останешься один, поджидает тебя дума печальная, и будет эта дума тебе душу травить до петухов...

Священнику, однако, седьмой десяток, и по опыту знает он, что надо всегда печаль по имени называть,

чтобы не таилась она в душе мукой непонятной. Понять печаль — значит найти ее причину, причина же — это уже факт, а факту всякому полочка есть, где лежать ему да забываться...

И как только домой пришел и на иконы взглянул, вспомнил причину своей печали. Это было лицо юноши, что пришел сегодня в храм к началу службы и простоял у двери, не перекрестившись ни разу, до самого конца. И ушел, не перекрестившись. А что же было в лице его? Для отца Вениамина в его лице была память. Много лет назад, в годы молодости своей, знал он такие лица, русские лица, с мукой в глазах, лица, которые потом стали исчезать в земле русской, а те, что приходили им на смену, и не обязательно безбородые, не в бороде смысл, просто это были совсем другие лица, и говорили они на каком-то чужом языке, в котором слова — не то штыки, не то скрежет зубовный. И тогда кончилась Русь! И как в татарщине или в неметчине жили. Даже православные, веры не изменившие, даже в их лицах не было светлости русской, а лишь страх, отчаяние да богооставленности мука.

Отец Вениамин прошел через расколы и тюрьмы и выжил чудом. Слово Божие нес людям, как крест подносят к глазам преступника, на смерть обреченного.

Привык священник думать, что кончилась Русь и с каждым днем кончается. Но вот через полвека, после всего, что было, вдруг стали встречаться ему то тут, то там знакомые лица. С удивлением и трепетом душевным приглядывался к ним, и было поначалу разочарование великое, казалось, будто напрокат взяты лики русские про русское забывшими!

Встретил он однажды в городе двух молодых людей. Бороды русые, глаза синие, руки нервные... Стоят в стороне, говорят о чем-то горячо... Глаза горят... Стал загадывать отец Вениамин, о чем разговор их.

О смысле жизни? О Боге? О прекрасной даме, наконец? Подошел близко сзади, и будто в душу плюнули! Говорили о хоккее. С ликами Алеши Карамазова — и о хоккее!

И все же! Все же это было знамение! Может быть, сначала лица русские, а потом и души...

Вот сегодня один из таких, новых, простоял у него в церкви всю службу. Несколько раз пристально вглядывался ему в глаза священник. Веры не увидел, но и пустоты воинствующей не было в них. Значит, все-таки что-то было! И вот это «что-то» и есть сегодня печаль отца Вениамина. Подумалось ему, что такие глаза должны быть у арестанта за решеткой или у неизлечимо больного, или у потерявшего самое дорогое в жизни... Хотелось молиться за эти глаза, просить Господа избавить их от боли и тоски, хотелось самому сделать что-нибудь в помощь, в облегчение, в избавление! Он знал, что ночь проведет в молитве и слезах, и уверенность была, что сегодняшняя его молитва непременно услышана будет...

И как-то совсем машинально готовил себе ужин, яичницу поджаривал да чай кипятил. И когда уже за столом собирался произнести предтрапезную, услышал стук в дверь. Удивился, потому что не ждал гостей. Но удивился еще больше, когда, открыв дверь, увидел того, о ком только что думал.

— Можно? Я не помешал вам? — неуверенно спросил юноша, не переступая порога.

— Отчего же, — ответил отец Вениамин. — Собирался ужинать в одиночестве, Господь гостя послал, и я очень рад. Заходите!

Тот прошел в прихожую, потом в комнату, благословения не попросил, на иконы не перекрестился. И казалось, будто знал, что нужно это сделать, и не сделал умышленно, чтобы подчеркнуть свое отношение и не создать двусмысленности положения. Держался просто. Охотно сел за стол, и, если от яичницы

отказался, то чай пил с удовольствием, из блюдечка, держа его обеими руками, так же, как и хозяин дома, словно обычай древний припоминал.

Они сидели друг против друга, смотрели друг другу в глаза и улыбались, может быть, каждый своему, но близость рождалась несомненная, хотя вместе с тем какая-то смутная тревога входила самым краешком в сердце священника.

— Меня Алексеем зовут, — сказал, наконец, гость. — А о вас я знаю давно. И много хорошего слышал от тетки моей, она в соседней деревне живет и к вам в церковь ходит.

Отец Вениамин молчал. Пил чай и смотрел на гостя, улыбаясь.

— А пришел я к вам за помощью, отец... хотя почти уверен, что помочь мне вы не в силах... И все-таки пришел... Должен был я попытаться, правда?

— Конечно, — согласился священник.

Чувствовалось, что юноше очень трудно начать, и не слова он подыскивал, а форму разговора, так, словно сказать хотел лишь немногое, но чтобы ответ получить по самому главному. Отец Вениамин не торопил его и не поощрял к откровенности, потому что знал, откровенным человек по нужде бывает, да по вере. Гость без веры. Значит нужда... Разговорится.

— Наверное, я все расскажу вам, — продолжал гость. — Наверное. Но не сразу. Сначала я хотел бы получить от вас ответ на один вопрос, для меня очень важный. И очень прошу вас, не торопитесь с ответом! У меня философское образование, и я знаком с богословской литературой. Казенный ответ меня не устроит. Я хочу знать ваше личное мнение! У вас за плечами жизнь. Мне нужен откровенный ответ человека, прожившего жизнь. Представьте, что от искренности вашего ответа зависит моя жизнь!

Отец Вениамин заволновался.

— Вы можете быть уверены в том, что я не солгу

вам, о чем бы вы меня ни спросили, и все же стóит ли ставить в зависимость от чьей-то искренности, даже священника, свою жизнь. Ведь так трудно бывает понять человеку человека. А, если я правильно понял вас, — вы хотите спросить меня о чем-то таком, о чем не легко говорить?

Юноша несколько смутился.

— Ну, пожалуй, я чуть сгустил краски! Вопрос в сущности... то есть... я бы мог его задать любому священнику... но к вам у меня уже была заочная расположенность...

Он замялся.

— В общем, отвечая на мой вопрос, учтите, пожалуйста, что я неверующий и что я уже сказал — для меня это очень важно!

Помолчал и выпалил:

— Что такое чудо, отец?

Священник даже растерялся.

— Чудо?! Но... Вы же ставите меня в невозможное положение! Вы спрашиваете о чуде и говорите, что неверующий! Так как же я вам отвечу! Ведь для меня чудо — это явление бытия Господа нашего, знак Его присутствия в мире... если говорить о так называемых сверхъестественных явлениях... Но для меня, поверьте, для меня чудо — всё творение Божие! Вам трудно понять это, но взгляните на мир глазами ребенка или как посторонний, и каждая букашка и жизнь человеческая — всё чудо, и ничто без Бога объяснения не имеет...

Священник увидел, как потускнели глаза юноши, и прервался на полуслове.

— Не то! Все не то! — пробормотал гость и... вдруг дернулся, как-то весь дернулся, будто судорога прошла по телу. Поймав встревоженный взгляд священника, смутился и заговорил сбивчиво.

— Не обращайте внимания... я после объясню... бывает так у меня... иногда...

И вот только после этих слов отец Вениамин заметил нечто особенное в облике юноши, в его манере держаться, в позе, как он сидел на стуле. В чем особенное — не объяснишь, может быть, болен?

Теперь он сидел боком на стуле, вцепившись руками в спинку, напряжение чувствовалось и в руках и в лице.

— Не то я хочу услышать от вас! — с болезненной гримасой сказал гость.

— Что же? — спросил священник и подумал о заведомой бесполезности этого разговора.

— Вот вы, лично вы, были когда-нибудь, ведь вы прожили большую жизнь, были вы когда-нибудь сами свидетелем чуда? Настоящего чуда!

— Нет, — ответил священник.

— И при этом вы верите в чудо?

— Мне трудно ответить вам, молодой человек. Ведь если я вам скажу, что воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а пред тем жизнь, деяния и смерть Его — величайшее чудо, засвидетельствованное апостолами, ведь для вас это не убедительно. А между тем, после этого величайшего события вообще недостойны были люди внимания Господа, ибо сколько же свидетельствовать! Но так мыслю я — грешник из грешников! Господь бесконечно добр! И чудеса, кои происходят с людьми, есть милость, есть деяние милосердия, есть переполнение любовью к твари сердца Господнего! Милость отвергающему ее!.. — Тут он прервался и недоуменно посмотрел на юношу. — Но... помилуйте! Если вы не веруете в Бога, то ведь для вас и чуда не существует! Зачем же...

— Я верю в чудо, отец. Точнее, я признаю чудо!

— Немыслимо! — изумился священник. — Если без Бога, какое же может быть чудо? Если вокруг материя одна да причинность жестокая, откуда чуду взяться? А если признавать чудо, то необходимо пред-

полагать при этом, хотя бы, скажем, некую силу, некий источник чуда...

— То есть вы хотите сказать, — не без ехидства вставил гость, — что надо предполагать причину чуда, а только что сами говорили о жестокой причинности материального мира! А?

— Не ловите меня на слове! Это нехорошо! Вы же понимаете меня, мысль мою понимаете!

Отец Вениамин не столько обиделся, сколько огорчился.

— Конечно, я понял вас. Но все дело в том, что возможны в мире явления, как следствия нарушения причинности. Могу я так посмотреть на вещи?

— Можете, — был спокойный ответ. — Но ответа на вопрос не получите, и удовлетворения не будет. Такой ответ не снимает вопроса, а рождает новые и бесконечные.

— А разве гипотеза Бога не порождает сомнения и бесконечность вопросов?

Священник помолчал некоторое время, ответил потом не торопясь.

— Гипотеза Бога — это удел ищущих в гордыне. Не вера рождает сомнения, а слабость наша, греховность, неспособность следовать путем веры! Но сомнением вера проверяется! Испытывается! Преодоление сомнения — радость великая, коей лишены безбожники... — Отец Вениамин почувствовал вдруг, что начинает уставать, что говорит вяло и неубедительно. — Не кажется ли вам, Алеша, что мы уходим в тему, которая, как вы сказали, уже решена вами! Я не улавливаю суть вашего вопроса! Я ведь могу говорить о чуде только как о Явлении Божием, в Бога же вы не веруете. Чем я могу помочь вам? Попробуйте поискать ответ у науки...

Алексей саркастически усмехнулся:

— Увы! Наука мне еще менее способна помочь!

При этих словах он вдруг снова дернулся. Лицо

перекосилось. Но была это гримаса не боли, а скорее досады... Пошатываясь, он встал со стула и подошел к окну. Левой рукой вцепился в подоконник, правой ухватился за ручку рамы и стоял к священнику боком, словно единственную позу выбрал.

— Никто мне помочь не может! — с каким-то тоскливым отчаянием прошептал он.

— Вы больны? — неуверенно спросил отец Вениамин.

— Болен? Если бы я сам знал, что со мной!

— Не понимаю... — пробормотал священник, не в силах оторвать глаз от лица своего гостя. Было это лицо человека в отчаянии, но оно не было лицом в обычном смысле больного человека. Что же?

Снова заговорил Алексей:

— На чем мы остановились? Да... На гипотезе Бога... Оставим... Значит, вы считаете, что всякое чудо — это непременно явление Бога?

— Так, — неохотно ответил священник.

— Если от Бога, значит какой-то смысл в каждом чуде? Намек своеобразный?

— Именно. Иначе зачем Господу являть Себя, как не в указание! Однако являет Себя Господь без навязывания, на волю не посягая!

— Не понимаю! — поспешно и нервно спросил Алексей.

— Упорствующему в неверии и чудо не поможет. Так я мыслю.

— Упорствующему? А если не упорствующему? Если желающему поверить?

— Уверует! — твердо ответил отец Вениамин.

Теперь на лице гостя была улыбка, не то снисходительности, не то сожаления.

— Ну, а вы, отец, вы, если бы увидели, к примеру, человека, идущего по воде, как бы вы отреагировали на это?

— Колени бы преклонил в радости и благодарении за милость Господню...

Хохот прервал слова его, грубый, циничный хохот, но священник не успел даже обидеться. Его гость вдруг оторвался от окна, как стоял, в рост, медленно всплыл к потолку, и теперь хохот падал на священника сверху, сверху же падали прерываемые хохотом слова:

— Ну, так преклоните колени, отец, возблагодарите!

С последним словом гость занял в воздухе горизонтальное положение, выставил вперед руки и с растопыренными пальцами поплыл к священнику, не переставая хохотать...

Очнулся отец Вениамин на своей кушетке, что в углу, от прикосновения холодного ко лбу. Это Алексей прикладывал к голове мокрое полотенце. Лицо юноши было испуганным, и слёзы! да, слёзы — это первое, что увидел священник.

— Вы живы! Слава Богу! Если можете, простите меня, пожалуйста! Я негодяй! Прошу вас, простите меня! Вам лучше?

— Что это было? — еле слышно выговорил всё еще бледный священник.

— Я всё объясню вам! Я должен был сразу рассказать всё! Но так глупо и подло всё получилось...!

— Вы гипнотизёр и пришли посмеяться надо мной?

— Нет! Честное слово, нет! Я всё вам объясню! Сейчас же! Поверьте, я не хотел того, что получилось! Вы были так бледны, я испугался... Хотите воды?

— Да...

Отец Вениамин на мгновение закрыл глаза, но тотчас же вцепился в руку Алексея.

— Вы действительно летали или это бред?

— Я принесу воды...

Растерянность и испуг всё еще были в голосе гостя, но когда он бросился за водой в прихожую, священнику показалось, что ноги его не касаются пола, и когда тот вернулся с кружкой, отец Вениамин снова был близок к обмороку. Пил он судорожно, с закрытыми глазами. Потом почти простонал:

— Рассказывайте же, наконец! Я буду лежать... Возьмите стул, садитесь рядом... И говорите..!

Видимо, не так просто было начать, и первые фразы были обрывочны, но только первые, потому что потом началась исповедь.

— Я окончил философский... Готовился в аспирантуру... Знаете ли вы, отец, как заманчива философия! Как таинственно это слово! Как загадочно величественны имена жрецов — Гегель! Кант! Платон! Фихте! Сейчас уже пусто... А раньше у меня голова кружилась при упоминании этих имен! А какое ни с чем не сравнимое наслаждение испытываешь, когда начинаешь понимать мысль великого философа, словно сам пережил ее! А гордость при этом! Но это что! Вот когда впервые вдруг обнаружишь у великого философа, к пониманию которого стремился годы, когда обнаружишь у него первую крохотную неувязочку, нелогичность — вот где плеск тщеславия! А потом, когда сам составишь мнение о великом, даже высказывать это мнение никому не охота, так горд и доволен собой бываешь! Многие на этом останавливаются и удовлетворяются, из них потом рождаются чванливые комментаторы, но в философов они не превращаются. Я останавливаться не хотел, но со мной случилось другое: я вдруг почувствовал, что пустое всё это... Сколько людей — столько философий. Каждый прав лишь постольку, как видится ему мир... Истины в философии нет, есть лишь одни более или менее талантливые интуиции, оригинальные конструкции... и не более. И всё! Как бы это сказать... одни стены... перегородки... лабиринты... а крыши нет... здания

нет! Я имею в виду истину... — Прервался. — Лишнее говорю, да? Но это необходимо, поверьте...

Священник схватил его за руку.

— Говорите! Не нужно ничего объяснять! Говорите!

— Вот тогда я и обратил внимание на религию. Началась тогда мода на кресты и иконы... Я прочитал Евангелие и сказал себе — это то, что я искал! Это мудрость, которую я чувствую, но постичь не в силах. Она выше моих возможностей! Я понял, что всю жизнь буду каждый раз по крупице понимать эту мудрость, и жизни моей не хватит! А если есть такая возможность — познавать конечную мудрость, можно ли жить еще ради чего-нибудь другого? Тогда я объявил себя верующим.

— Объявили? — удивленно переспросил отец Вениамин. — Разве вы не уверовали, если поняли, что нет мудрости большей?!

Алексей невольно улыбнулся.

— Я объявил, что уверовал. Я думал, что это одно и то же. Признавать правоту христианства и поверить в Бога.

— А разве это не так? — изумился священник.

— Конечно! Ведь и христианство можно воспринимать лишь как зашифрованную философию сохранения человеческого рода, полученную, к примеру, от космических пришельцев, высших по разуму!

— Да, — печально согласился священник, — люди готовы верить во что угодно, но только не в истину, простую и очевидную.

— Очевидность — явление субъективное... — начал было юноша, но замолчал. Потом продолжал: — Так я стал верующим. Отрастил бороду, бросил курить, упорядочил отношения с женщинами... Благодаря своей философской натасканности я стал в своей среде чем-то вроде проповедника. Церковь, разумеет-

ся, посещал и даже посты держал строго по календарю... Но вот месяц назад случилось...

— Будьте добры, дайте мне ещё глоток воды! — Пил, а руки заметно дрожали, и бледность будто снова выступила на лице. — Ну, ну... я слушаю! Говорите!

— Вы думаете, это случилось во время молитвы или во время благостных размышлений, или при чтении Священного Писания? Это было на пляже, когда я валялся на песке, и не было у меня в тот момент ни благих, ни грешных мыслей... Я хотел подняться, оперся ладонями на песок и вдруг понял, что повис над песком... так... сантиметра на четыре... Казалось, что я не сделал ни одного движения, только подумал — и тут же поднялся еще! У меня закружилась голова, то есть произошло примерно то же, что и с вами полчаса назад. Я потерял сознание. Правда, лишь на мгновение. А когда снова пришел в себя, то уже знал каким-то особым телесным знанием, что могу подняться в воздух без малейшего усилия и напряжения. Заметьте, отец, при этом я даже не вспомнил о Боге! Я просто был ошеломлен... Я быстро оделся, еле удерживаясь от эксперимента, прыгнул в автобус... Он был полон, но не слишком, я же висел между людьми, поджав ноги... В комнате я заперся на ключ и, обратите внимание, даже не взглянул на иконы, которыми был полон угол. Я набрался воздуху, как для храбрости, и всплыл к потолку. Я летал, опускался, переворачивался вниз головой, роняя из карманов всякую ерунду... было как во сне...

Вы говорите, всякое чудо от Бога... Но ведь если это было так, то в душе моей я чувствовал бы хоть что-то! Но ничего! Понимаете, ничего не было, скорее, напротив, ощущение уродства, ненормальности... Не было чуда... Был лишь парадокс причинности... И тогда пришло прозрение! Я никогда не был верующим... Более того, я почувствовал ну, что ли, пу-

стоту вселенной, безбожие мира, собственное сиротство...

— Возможно ли это! — воскликнул священник. — Ведь вы же летаете! Летаете! И говорите о пустоте вселенной, о сиротстве... Господи! Да что же это случилось с людьми! Ни кары, ни благодати не приемлют!

Поднявшись с кушетки, он подошел к иконостасу, почти упал на колени.

— Господи! Не гневайся на неразумение рабов Своих! Разум их помутнен и душа осквернена! Велико терпение и безгранична любовь Твоя, Господи!

Гость стоял в стороне. На лице была досада, или печаль, или досада печальная. А когда священник умолк и склонился в поклоне, голос Алексея зазвучал резче и будто даже с издевкой.

— Я ведь еще не всё рассказал вам, отец!

Тот поднялся, снова сел на кушетку, закрыл лицо руками.

— Рассказывайте! Всё рассказывайте! Ничего не оставляйте на душе!

Алексей подошел к иконостасу.

— Символы! Символы вашего Бога! А признает ли Сам Бог эти символы за Свои? Богохульство? Да? — Сел рядом. — Тогда, в своей комнате, обнаружив себя уродом, я под конец сорвал икону со стены и летал с ней и глумился над Богом умышленно! Я ведь рисковал, правда? Но ничего со мной не случилось, икона же треснула, когда я выронил ее из рук под потолком. А жаль! Вот если бы в этот момент я брякнулся на пол да переломал себе руки или ноги...

— Тогда бы уверовали?

— ...Еще бы! — рассмеялся Алексей.

— Нет, и тогда бы не уверовали... Впрочем, нет, нет, не знаю.

Чего-то смутился отец Вениамин, потому что пожалел о своих словах.

Алексей не обратил внимания.

— Так началась моя новая жизнь! Жизнь в чуде! Чего там! Я о Боге и думать забыл в первые дни! Ведь летать! Господи! Можете ли вы себе представить, какое это удовольствие, нет, наслаждение — летать! Ночью над степью или озером! Вскинешь руки и паришь, и падаешь, и взмываешь! И ничего больше не нужно в жизни! Так легко!..

При этих словах он поднялся, возложил руки на голову и с пьяной улыбкой поплыл по комнате как-то в полувертикальном положении. Но, видимо, спохватился, быстро, словно спрыгнул, опустился на пол и тревожно взглянул на священника. Тот был бледен и торжествен, стоял в полный рост.

— Чудо! Чудо! — шептал он. И столько счастья было в его голосе, что откровенная зависть отразилась на лице юноши. — Теперь можно и умереть!

Отец Вениамин вдруг нахмурился, лицо стало озабоченным.

— За что же дал мне Господь лицезреть чудо? — спросил он, тревожно взглянув на Алексея. — За что? Разве я не отягощен грехами более других? Неужели...

Он тут побледнел, как перед обмороком, и даже закачался. Гость поторопился подхватить его под руки, но был мягко отстранен и отошел в угол удивленный. Священник опустился на кушетку, отсутствующим взглядом смотрел куда-то мимо Алексея.

— Вы хотели еще что-то рассказать...

— Вам плохо? Может, воды?..

— Нет, — безучастным голосом ответил он. — Говорите же! Я знаю, вы не сказали еще чего-то очень важного...

Алексей пожал плечами.

— Главное сказал. Странно... Сначала вы были счастливы, когда узнали... А сейчас похожи на самого несчастного человека в мире... Я подозревал, а теперь уверен, что мое чудо в итоге всем приносит несчастье...

— Всем? — встрепенулся отец Вениамин. — Разве еще кто-нибудь...?

— Вот об этом я и не успел вам рассказать! — усмехнулся Алексей. — Но сначала о себе... Что мне лично делать с этим чудом? Для меня утерян смысл жизни! Я уже не могу жить среди людей, потому что не могу контролировать себя! — Улыбнулся. — Ах, если бы вы знали, отец, сколько соблазнов я преодолел! Больше, чем Иисус, поверьте! Сколько раз мне хотелось взлететь где-нибудь посредине улицы и полюбоваться сверху на физиономии моих современников, пожизненно опьяненных всеобщим детерминизмом природы! А сегодня, в вашей церкви, думаете, мне не хотелось устроить потеху!

— Но вы не сделали этого! — тихо сказал священник.

— Не сделал. Но вовсе не по причине порядочности! Мне объявиться, значит превратиться в подопытного кролика науки или в обожествленного кролика Церкви! Я самолюбив! И не могу позволить, чтобы меня изучали!

— И до сих пор никто...

— Увы! — перебил его гость. — Но к рассказу об этом вам, отец, следует подготовиться.

Хотел, кажется, с иронией... Но ирония не прозвучала, и потому священник ответил серьезно:

— Я готов.

— Невозможно мне жить среди людей! Скучно! Я не чувствую себя суперменом! Я просто хочу летать! Я превратился в ночную птицу, отец! Днем летать нельзя... Я уехал в деревню, бросил учебу и всё прочее, как ненужную бумажку выбрасывают... Пьянством никогда не страдал... о наркотиках понятия не имею... но, кажется, со мной происходит то же самое! Днем сплю, а во сне летаю... Просыпаюсь всегда в страхе: неужели только сон?! Если один, тут же буквально бросаюсь в воздух, и когда убеждаюсь, что это

не сон, что я действительно летаю, то плачу от счастья! Если я нахожусь где-то, где нельзя взлететь, вдруг появляется мысль, что чудо кончилось, и я спешу куда-нибудь, чтобы убедиться... Самое страшное, отец, это что с каждым днем сокращается время, когда я могу не летать... Люди раздражают своим присутствием... Хамом становлюсь... равнодушным... Только летать!

Но я хотел рассказать... Да... Однажды я убежал в лес в полдень, когда сомнения напали... Убежал в лес и, забыв обо всём, начал гоняться за птицами! Такой переполох наделал... Птицы, отец, они тоже детерминисты! Они терпеть не могут, когда нарушаются законы природы...

В общем, увлекся я, смотрю — мужик... Стоит внизу с выпученными глазами, корзину выронил... челюсть на подвесе... Мне хоть бы исчезнуть сразу! А я к нему полетел... Он как стоял, так и грохнулся на спину без звука. Когда к нему подлетел, он уже всё... Я уже убийца! Вот как! И вы вот тоже чуть Богу душу не отдали, а уж вы-то...

Священник вскочил с кушетки. Глаза расширены, в глазах ужас, руки трясутся... Алексей шарахнулся от него.

— Вот! — крикнул отец Вениамин. — Вот! И я тоже! И вы, и мужик, и я тоже!

Он схватился за голову!

— Только этого не хватало! — пробормотал Алексей пятясь к двери.

— Стойте! — крикнул священник! — Простите меня!

Он вдруг упал перед Алексеем на колени.

— Простите! Христа ради! Я вас поучал, проповедь читал о вере! Простите! Не имел права! В обмане был сам и вас обманывал! И Бога! И Бога! Вы честно... прямо... А я всю жизнь...

Он упал на пол и зарыдал. Алексей в отчаянии заметался по комнате.

— Будь проклято это чудо! — крикнул он в отчаянии, опускаясь на колени перед священником. Тот живо поднял голову, обнял его, тоже встав на колени.

— Нет! Не смейте говорить так! Вы не понимаете! Мы все предали Господа! Я первый! Он чудом своим разоблачил ложь мою!

Он перешел на шёпот.

— Ведь я же испугался! Понимаете! Испугался! Как и тот мужик, что не верил! И вы в страхе перед чудом, потому что и вы без веры! И я! Господи! Простится ли такое! Я фарисействовал! Понимаете!

Алексей осторожно высвободился, поднялся, поднял священника.

— Вы уж извините, — как-то зло сказал он, — только мне, очевидно, таких тонкостей не понять! У меня от своих забот голова кругом... Я пойду, пожалуй...

— Подождите! Прошу вас, подождите!

Отец Вениамин усадил его на стул, сел рядом на кушетку, не выпуская из своих рук руки Алексея.

— Мы не можем, поймите вы, не можем сейчас вот так расстаться! Господь связал нас с вами одной милостью, судьбы наши связал...

— Милостью? — усмехнулся Алексей. — А зачем мне эта милость? Я признал Его доброй волей! Было ведь так! Чудом Он посягнул на свободу моей веры и уничтожил ее!

— Да нет же! Нет! — горячо возражал отец Вениамин. — Не вы ли признавались, что не было веры в вас! Не поддавайтесь гордыне! Вы хотите быть свободней Бога, но быть свободным от Бога, значит быть в рабстве! Поймите! — От волнения голос его срывался на шёпот, он крепко сжимал руку Алексея, крепче, чем можно было ожидать от человека его возраста. — Вы думаете о Боге! Вы жаждете веры!

Перешагните же через гордыню, станьте дитём, которому только мир открылся, сердце послушайте свое! В его побуждениях истина ваша!

Алексей сделал рукой жест досады, но священник не дал ему говорить:

— Вы не хотите принять чудо! Но вы... подумайте! вы бы и Христа не приняли! Ведь вы бы Его распяли!

Алексей внимательно посмотрел на него.

— Какая-то логика есть в ваших словах... Но разве кто-нибудь уверовал благодаря логике?

— Не логика, истина в моих словах! Тысячелетняя истина, которую, было время, признавал весь мир!

— Весь мир признавал Птоломея! Ну и что?

— Господи! — зашептал отец Вениамин, закрыв глаза. На щеках показались слезы. — Господи! Вразуми меня! Дай мне слова!

Алексей попытался высвободиться. Облегчение не пришло, и он уже тяготился разговором.

— Слушайте! — снова горячо и страстно заговорил священник. — Сегодня же, сейчас же идите домой, уединитесь, упадите на колени и заставьте всей силой, какая есть в вашей душе, заставьте себя быть искренним! И молитесь! Не почувствуете ничего, молитесь еще усерднее! Молитесь и час, и два, и три, пока не услышите! Вы услышите, потому что услышаны будете! Дорогой мой, жизнь ваша решается, и не только эта жизнь, скоротечная и неверная, но и та, вечная, которая есть, к которой готовит вас Господь особой милостью Своей.

Он обнял его, уговаривал и умолял.

— Я тоже... всю ночь молиться буду! И двоих нас услышит Господь, если об одном просить будем! Моя жизнь — это три ваших! И всю мне ее отмолить нужно! Сил хватит ли! Прошу вас! Ступайте домой и обратитесь! Обещайте мне!

Алексей, наконец, высвободился, поднялся.

— Я обещаю вам, отец, что сейчас пойду домой...

Тут он прервался, глаза засветились скрытой радостью.

— ...ведь уже темно, да? Значит я полечу! Я буду лететь и думать над вашим советом. Бóльшего обещать не могу!

Он начал торопливо прощаться со священником, глаза у того были полны слёз, и он уже больше ничего не говорил, и только крестил несчастного и что-то шептал.

Когда за Алексеем захлопнулась калитка, священник уже стоял на коленях...

* *
*

Ночь была теплая и темная. На холме стоял человек и не виден был никому, кроме самого себя. Еще, может быть, видел его Бог!

Ни звука не было в ночи. А вокруг притаилось дремавшее человечество, и снились ему сны о грехах. Всё уже было! Был убит Авель и распят Христос, а убийство и распятие были забыты человечеством, как забываются детские шалости. И человек на холме под звездным небом, сын Адама, был лишь образом и подобием Адама, — Адама, а не Бога, потому что о Боге он уже ничего не знал сам, а тому, что знал понаслышке, верить не мог!

Ночь была теплая и темная. Дремавшее человечество скулило во сне, как собака, обманутая в куске хлеба. Человек на холме слышал этот скулёж, но сочувствия не испытывал, он уже не принадлежал к тому человечеству, с которым разделяла его ночь, теплая и темная.

Человек вглядывался в глубину звездного неба и думал:

«Допустим, есть нечто, обобщающее эту бездну материи и пустоты, имеющее в самом себе смысл всему разобщению мира. Я могу представить его, как некий имманентный разум, я могу назвать его Богом. Но что такое Я — пылинка от пылинки, какой контакт может быть у меня с тем, что можно предположить под именем Бога?! Как нужно сократиться и упроститься этому Нечто, чтобы заговорить со мной на одном языке, моими жалкими понятиями! Человеку легче установить контакт с амёбой! Тут хоть есть некий общий принцип бытия... белок и прочее. Нелепа сама идея Бога... а я летаю!

Но довольно! Я отказываюсь больше ломать голову! Пусть теперь этим займется человечество! Завтра оно узнает обо мне! Я нанесу оплеуху одновременно и науке и религии! Ни попы, ни книжные черви не спекульнут на мне! Пусть ползающие завидуют летающему! Летать! Летать!»

Он отбежал назад от края холма, разбежался и, вытянув руки вперед, ринулся вверх. Опьянение полетом овладело им, и больше не было никаких мыслей, никаких проблем и противоречий. Он не чувствовал своего тела, было только сознание самого себя, словно был он теперь тем, чем должен быть от рождения — бессмертной свободной душой, не отягощенной никакими заботами плоти. Жизнь его стала полетом, и другого смысла в ней не было!

Счет времени был потерян. Он летел и знал, что никогда не устанет, как не может вечное устать от бессмертия. Машинально менял направления и не думал о том, куда летит, далеко ли...

Должно быть, прошло много времени. Неожиданно исчезли звёзды, невидимые тучи перекрыли их. Он забыл, с какой стороны они должны быть. Исчезло ощущение верха и низа, вообще исчезло ощущение пространства. Земля и небо исчезли. Подъем и спуск потеряли всякий смысл. Он обнаружил себя стоящим,

но где была земля, вверху или внизу, слева или справа — пространства не было. Страх, никогда ранее не испытанный, ледяным панцырем сковал сердце. Отчаянно он начал метаться из стороны в сторону, но сторон оказалось больше, чем четыре, больше, чем шесть, сторон оказалось столько же, сколько мыслей о них. Он закричал, дико и отчаянно, но человечество, даже если оно и было где-то рядом, спало и не услышало его крика. Он понял, что потерял землю. А без нее, как оказалось, невозможно жить! Бог дал ему крылья, а земля отказала в притяжении...

Задохнувшись от крика, он всей данной ему силой полета кинулся куда-то...

* *
*

Всю ночь отец Вениамин провел в молитве и слезах. Обессилев, к утру задремал на полу перед иконостасом. Разбудила его соседка, что обычно в седьмом часу приносила ему молоко. Обеспокоенно спросила, здоров ли батюшка. Потом рассказала, что беда случилась в деревне. Человека убили ночью. Доярки утром шли на ферму и увидели. Молодой такой, красивый, говорят...

— Где? — крикнул священник так, что напугал женщину.

— Милиция с району приезжала, забрала.

С удивлением смотрели проснувшиеся жители деревни на священника, почти бегущего по улице с развевающимися по ветру волосами и бородой.

Деревенская фельдшерица оторопела, когда к ней ворвался священник. Он не поздоровался.

— Скажите, вы видели его?

— Кого? — еле выговорила девушка.

— Юношу... убитого...

— Видела, — ответила она, не понимая, чего от нее хотят.

— Что с ним?

Она, наконец, обрела дар речи.

— Не знаю, так, как будто он с самолета упал... весь разбитый...

Когда вбежал в свою квартиру, дверей не закрыл, у порога не задержался, с размаху упал на колени перед иконостасом и захлебнулся в рыданиях...

СОДЕРЖАНИЕ